



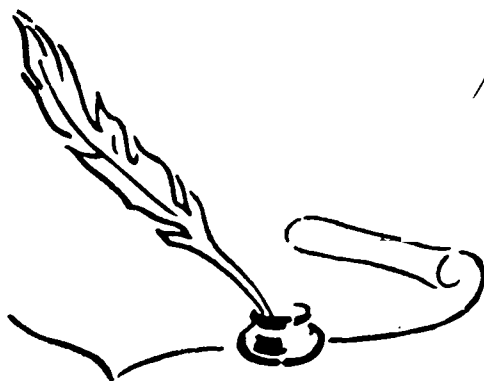
Рс
Г 88
570752

Виктор Гроссман

ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ

Виктор Гроссман

ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ



*Северо-Западное
книжное
издательство
1967*

В. Гроссман — один из знатоков и исследователей жизни и творчества А. С. Пушкина. Роман «После восстания» является четвертым томом эпопеи о великом русском поэте, созданной писателем за последние десять лет. Но это вполне самостоятельное произведение о поэте и времени кровавых репрессий.

События, изображенные в романе, относятся к драматическому периоду в истории России первой половины XIX века — разгрому восстания декабристов и первым годам после него. В то же время галерея лиц, представленных в нем, необычайно разнообразна. В центре всех событий — сам Пушкин, который показан автором и как вольнолюбивый поэт и мыслитель, и как друг декабристов, и просто как обаятельный человек.

ПРОЛОГ

...но дело их не пропало.

В. И. Ленин



ПРИЕЗД Пушкина в Михайловское разрешил все сомнения: тайное общество в России существует, и Жано один из его деятельных членов. Но лицейский друг не позвал за собою Пушкина на опасный путь.

После короткого молчания, последовавшего за признанием, Пушкин спросил:

— На какую же силу вы рассчитываете?

— На войска.

— А народ?

— Народной революции мы опасаемся больше всего, ибо она не может не быть кровопролитна и долговременна.

С этим и Пушкин был согласен.

— И вы надеетесь победить?

— Нет, не надеемся. Но кому-нибудь надо же начать. Мы погибнем, но самая гибель наша послужит общему делу. Так и в бою. Первые атакующие ложатся костями, чтобы проложить дорогу следующим. Императрица Екатерина говаривала, что она никогда не дослужилась бы до генерала, потому что в самом низком чине была бы убита. Так неужто мы хуже ангальт-цербсткой принцессы сумеем умереть за родину?

Пушкин не отзывался на шутку Пушкина. Он не любил Екатерины и не верил благодетству ее слов.

Пушкин привез с собою письмо Рылеева, новую комедию Грибоедова «Горе от ума» и три бутылки шампанского. До обеда вспоминали прошлое, говорили о лицейских товарищах и особенно о Дельвиге и Кюхельбекере. Посмеялись тому, что царь Александр до смерти испугался, когда увидел в записке коменданта о приезде в столицу фамилию «Пушкин», и только тогда успокоился, когда ему доложили, что приезжий был не Александр Пушкин, известный поэт, а брат его Левушка.

После обеда заперлись в комнате Александра Сергеевича, и Пушкин стал читать вслух новую, еще не напечатанную комедию. Пушкин слушал с живым вниманием. Глаза его заблестали. Он то и дело вскакивал со своего кресла.

— Ай да умница! Ай да молодец! Половина стихов войдет в пословицу!

— Это ты о Чацком?

— Вовсе нет! Это я о самом Грибоедове. А какой же Чацкий умница? Все, что он говорит, мог бы сказать любой из ваших заговорщиков. Его рассуждения о русской одежде и об иноземном фраке или о русских княжнах, мечтающих: «Ах, Франция, нет в мире лучше края!», хоть Виле Кюхельбекеру впору. Но перед кем говорит он все это? Разве умный человек станет метать бисер перед Фамусовыми и Скалозубами? А Виле станет. Недаром мы все считали его одержимым. Вот и Чацкого ославили безумным. И поделом!

Хотелось еще Пушкину спросить, не состоит ли и Грибоедов на службе отечеству среди петербургских заговорщиков, но он не решился. Да и может ли Пушкин все знать? Конспираторы даже своим не все открывают.

Уехал Пушкин, а поэт остался со своими раздумьями и сомнениями. Запомнился и так кстати прозвучал грибоедовский стих:

Как посравнить да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом.

Его давно уже тянуло посравнить... Было время, бунтовал Булавин. Кровавил волжскую волну Степан Разин. Это понятно: они поднялись против боярской неволи. Ничего удивительного не представлял беспощадный бунт Емельяна Пугачева против «казанской помещицы», как именovala себя Екатерина Вторая, потому что за смелым самозванцем шли не только казаки,

возмущенные потерей старинных вольностей, но и крепостные, ожесточенные жестокостью поместного дворянства. Но бунтовщики в форме гвардейских офицеров — это было ново и необычно! Да еще в каких чинах! Взять один только Тульчин: полковник Пестель, генерал-майор Орлов, генерал-интендант Юшневский, генерал-лейтенант князь Волконский и, наконец, чем черт не шутит, когда бог спит, генерал-от-кавалерии Раевский 1-й.

Все ли они состоят членами того тайного союза, который уже дал о себе знать арестом майора Раевского, или кто-нибудь из них остался вне общества, как остался он сам, — сказать нельзя определенно. Однако не может быть сомнений в том, что эти люди все без исключения не видят другого пути для счастья своей родины, как борьба против самовласти.

Из дворян бунтарем был у нас Радищев. Но он бунтовал в одиночку. Человек духа необыкновенного, Радищев не имел сообщников. Теперь не то. Их стало много, этих светских конспираторов. Мы не знаем точно, сколько их и каковы их силы, но правительство их боится, а это уже говорит о чем-то.

Но вот Пушкин стал читать «Исповедь Наливайки», новую думу Рылеева, еще им не оконченную.

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа.
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Пушкин вздрогнул от мрачного пророчества. Неужто Рылеев это о себе написал? Следственно, и он среди конспираторов? Как узнать правду? Поневоле всюду будут чудиться заговорщики и в каждом знакомом имени будешь видеть сообщников Пуццина!

Пушкин по-новому стал читать думы Рылеева. Прежде они казались ему однообразными, составленными из общих мест, а теперь он увидел в них иное. И самое однообразие в этих образах борцов за свободу показывало, что автору мила одна цель — свобода, и за нее он сражается со злыми силами, как умеет и чем попало. Не мечом, так дубиной, а то и помелом! Что ж, пусть пишет, как хочет!

После отъезда друга Пушкин продолжал вести тот же образ жизни, который он вел раньше и который описал в «Онегине». Была зима.

В глуши что делать в эту пору?
Читать? Деревья той порой
Невольно докучают взору
Однообразной наготой.
Скакать верхом в степи суровой?
Но конь, притупленной подковой
Неверный зацепляя лед,
Того гляди, что упадет.
Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт, вот Вальтер Скотт.
Не хочешь? Проверь расход.
Сердись иль пей, и вечер длинный
Кой-как пройдет, и завтра тож,
И славно зиму проведешь.

Все же Пушкин был не Онегин. Он читал теперь не Прадта и не Вальтера Скотта, а Шекспира, Карамзина и летописи. Его уж давно не удовлетворяла работа над описанием жизни светского молодого человека и его любовных причуд. Судьба народная стала привлекать его внимание. Лирик уступал место историку.

Еще до приезда Пушина в Михайловское Пушкин начал писать романтическую трагедию о царе Борисе Годунове и о Самозванце. Он не испугался огромных трудностей, которые встали перед ним. И два таких необычных для русской словесности произведения, как роман в стихах и трагедия на тему из русской истории, сделались одновременно предметом его повседневного труда. Такого литературного подвига еще никто не совершал до него на Руси. «Силы мои развились, я могу творить», — признавался он в письме к Николаю Раевскому.

«Что развивается в трагедии? Какая цель ее?» — спрашивал себя поэт и отвечал: «Человек и народ. Судьба человеческая и судьба народная». Так «Годунов» дополнял «Онегина». Судьба одного человека находила объяснение в судьбе его народа.

Историю Карамзина и летописи Пушкин давно уже читал как свою семейную хронику. Имя Пушкиных попадалось там едва ли не на каждой странице. Однако в его личной судьбе было не только нечто общее с другими дворянами, происходившими из знатных, но оскудевших семей, но и свое особенное.

Он тоже испытывал невзгоды от родового оскудения. Он тоже в первой молодости вел жизнь просвещенного и скучающего юноши в петербургском свете. Но он был поэт. Это ставило его особняком среди молодых людей его бурного времени.

Что делать поэту среди политических бурь? Рылеев и Пушкин отвечали просто: погибнуть! Но разве можно в двадцать пять лет, в расцвете жизненных сил, принять такой ответ и не содрогнуться. Так погиб Андрей Шенье, казненный Робеспьером. Шенье был классиком из классиков. Стихи его, спокойные и выразительные, воспевали любовь, наслажденья дружбы и тишины, а иногда воспроизводили сюжеты из античной истории. И этот мирный певец мирных трудов и наслаждений погиб в вихре политических страстей. Образ юного страдальца все больше и больше овладевал вниманием Пушкина и постепенно среди досугов от романа и трагедии стала появляться элегия, которую Пушкин назвал «Андрей Шенье в темнице». Она неминуемо должна была напоминать о борцах против всякого самовластья.

Завтра казнь, привычный пир народу,
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца.

Исторически это было неверно. Шенье вступился за сверженного короля и написал просьбу о сохранении ему жизни. Лира его никогда не воспевала народной свободы. Но юный поэт восстал против носителя идей террора, против кровавой диктатуры Робеспьера. И этого Пушкину было достаточно. Он решил попрасть историческую правду ради созданного им героя, борца за свободу, сложившего голову на плахе. Созданный им Андрей Шенье восклицал:

О горе! О безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый царствует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! О позор!

Перед казнью Шенье испытал приступ малодушия и запоздалых сожалений:

Куда, куда заплек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений

Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?

.....
Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине,
На низком поприще с презренными бойцами!
Мне ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать бессильные бразды?

Все же, чтобы эти строки не опорочили исторического Шенье, Пушкин добавил примечание о мужественном поведении французского поэта перед казнью. Впрочем, малодушие Шенье было кратковременным и сменилось гневом, в котором проявился гордый и сильный духом борец.

О нет!
Умолкни ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам...

Это уж он писал о себе.

В письме к князю Вяземскому Пушкин спрашивал: «Читал ли ты моего «Андрея Шенье в темнице»? Суди о нем, как иезуит, по намерению».

А намерение элегии было показать, хотя бы вопреки исторической правде, трагическую судьбу поэта, поднявшегося на несвоевременную борьбу за свободу и гибнущего жертвой самовласти.

Поймет ли его русский читатель? Вряд ли, но что делать!

Твои дела, поступки судят люди,
Намеренья единый видит Бог, —

убеждает Самозванца в его трагедии патер-иезуит. Ну, авось не теперь, а позже когда-нибудь найдется на Руси человек, он поймет намерения поэта и потом объяснит их другим. И к этому

будущему своему читателю-другу Пушкин обратился в конце второй главы «Онегина»:

Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРЕМЕНЫ

А самовластие лишь север укрывал.

А. Пушкин



ОБЩАЯ ненависть выгнала Вигеля из Кишинева, где он все никак не мог дослужиться до губернаторской должности, хотя не раз временно замещал ее.

Граф Воронцов, генерал-губернатор и наместник Новороссийского края и Бессарабской области, получал много жалоб на незаконные и самоуправные действия кишиневского вице-губернатора, но не давал им хода, считая жалобы и доносы наветами по злобе.

Граф знал, что Вигеля не любили, потому что он часто пренебрегал правами и привилегиями молдавских бояр, прежних хозяев края, знал, что Вигель неохотно считался с особыми законами, которые действовали в Бессарабии, что он с открытым недоброжелательством относился к грекам, евреям и другим нациям из многоплеменного населения Кишинева, что, наконец, Вигель ставил перед собою политическую цель — превратить Бессарабию в обыкновенную русскую губернию.

Знал и не препятствовал его деятельности, потому что считал Вигеля человеком честным, деловым, знающим нужды края, преданным родине.

Когда же ему убедительно доказали, что Вигель не чист на руку, что он участвовал в плутовских проделках при сдаче купцу Левинсону подряда на поставку топлива для казарм и дру-

гих казенных зданий города, Воронцов решил расстаться с Вигелем.

Он не собирался ни отдавать Вигеля под суд, ни назначать ревизии дел казенной палаты — зачем выносить сор из избы? — но предполагал в частном разговоре предложить Вигелю перемену места, предпочтительно такую, от которой Вигель сам бы отказался.

Покуда граф размышлял, как бы потоньше и помягче это сделать, в стране произошли важные события: скончался император Александр I и наступило междуцарствие. На престол должен был вступить его брат Константин, и ему была принесена присяга войсками и населением. Но обнаружилось, что Константин еще при жизни императора Александра отрекся от престола, хотя акт его отречения и хранился в строжайшей тайне. Когда же документ с отречением был опубликован, право на русскую корону перешло к великому князю Николаю Павловичу. От войск и населения потребовалась вторичная присяга. Это вызвало замешательство, которым и воспользовались мятежники, давно уж образовавшие тайные общества с целью изменить государственный строй в России. Четырнадцатого декабря 1825 года они подняли на Сенатской площади в Петербурге военное восстание. Однако мятеж вскоре был подавлен, заговорщики рассеяны, и теперь велось следствие. Оказалось, что в заговоре замешаны члены лучших дворянских фамилий и что в комиссию зовут всех оговоренных, не считаясь ни с чином, ни с знатностью, ни с богатством. Руководит следствием сам молодой венценосец. Он же и ведет допросы, как некогда его пращур Петр Великий после стрелецкого бунта. В такое время лучше не порочить русских администраторов в Бессарабии. Надо выждать. Но и оставлять дела в прежнем положении нельзя, чтобы не озлоблять население провинции, так недавно присоединенной к России. Надо поступить так, чтобы и волк был сыт и овцы целы. Ну если и не все овцы, то хоть большая их часть.

Граф Воронцов вызвал Вигеля в Одессу, пригласил к обеду, а потом назначил ему официальный прием в кабинете. Там, ни словом не обмолвившись о жалобах и доносах, он спросил участливо о здоровье и предложил длительный отпуск в Петербург. Для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы Вигель мог поличиться у столичных лекарей, отдохнуть, повидаться с родными и заодно уж ознакомиться на месте с событиями, о которых в далекие окраины доносятся только мало проверенные слухи.

Вигель понял, что этот отпуск — предварительная отставка. Через правителя канцелярии генерал-губернатора Казначеева он узнал, что Воронцов своей властью отменил контракт, заключенный с Левинсоном на поставку топлива. После этого о возвращении в Кишинев и думать было нечего. Однако Вигель не унывал. Он был так уверен в своем уме, в своем служебном опыте, в знании административных дел, что думал только о тех переменах, которые неизбежно должны были наступить в министерствах с новым царствованием. У трона молодого самодержца станут новые люди. Уже мелькают в разговорах имена Алексея Орлова, Толя, Чернышева, Блудова и особенно Бенкендорфа. Вот уж неожиданно-негаданно! Рядовой командир кавалерийской дивизии, расквартированной в Харькове, человек ничем не примечательный и нигде особенно не отличившийся, генерал-лейтенант Бенкендорф был, говорят, вызван в Петербург, там произведен в генерал-адъютанты, оставлен при особе молодого государя и стал теперь его правой рукой. Аракчеев от дел отстранен, а на его месте Бенкендорф. Кто бы мог подумать? Бенкендорф! Легкомысленный, ленивый, невежественный... Как же можно было доверить такому человеку высший государственный пост? Однако доверили! Любопытно будет взглянуть, что из этого выйдет!

И Вигель поспешил покинуть Одессу и уехал в Петербург.

* * *

По весенней распутице на перекладных Вигель приближался к Москве. Ветер серой пылью бил в лицо, засыпал глаза. Трудно было дышать. Спрятавши голову в воротник шинели, сутулясь и полузакмуря глаза, Вигель кое-как добрался до дома сестры, Натальи Филипповны, которая была замужем за генерал-лейтенантом Алексеевым. Двое их сыновей служили в военной, а сами старики построили себе в тихом переулке на Арбате удобный домик и там жили на генеральское жалование, так как Алексееву за боевые заслуги дали не отставку, а бессрочный стпуск с сохранением содержания. У них-то Вигель и узнал последние новости.

Следствие по делу заговорщиков 14 декабря еще не закончено. Москва меньше пострадала, чем Петербург, но и здесь хватали людей и отправляли в невскую столицу. Иных скоро освобождали, даже с очистительным аттестатом, а иные и сей-

час заточены в Петропавловской крепости и, кто знает, как разрешится их судьба. Хлебосольная Москва тем не менее живет так, словно ничего и не произошло, так, как жила от века: пляшет на балах, развлекается в театрах, играет свадьбы, а больше чудачит.

А все-таки в Москве толком не узнать, какие изменения произошли в высших сферах, кто назначен на какой пост, какие реформы ожидаются в административном управлении. Между тем для Вигеля, который был без должности и почти без средств, именно этот вопрос имел решающее значение. Тот или другой из старых знакомых, если его назначат даже и не министром, а только директором департамента, мог бы определить его служебную карьеру на многие годы.

Вигель заторопился в Петербург. Сестра пыталась его удержать.

— Подожди, посмотри прежде, как развернутся события! — говорила она. — Пусть хоть это проклятое следствие над мятежниками окончится! Время ли теперь рассчитывать на протекцию старых знакомых. Смотри, как бы не ошибиться. Поспешишь — людей насмешишь!

Заглянув внимательно в лицо брата, Наталья Филипповна добавила с материнским участием:

— Да и как тебе ехать с такими глазами? Оба воспалены, красные, слезятся, а в дороге пыль, нечистота. Неровен час, совсем ослепнешь!

Вигель поблагодарил сестру за добрый совет, за ласку, за гостеприимство, однако не послушался. Взял билет в дилижанс и уехал в Петербург.

В конторе дилижансов встретился ему старый приятель Волков, служивший правителем канцелярии строительного комитета. Он занимал просторную и удобную квартиру в доме министерства внутренних дел. По случаю болезни молодой жены Волков на лето отправлялся в Ригу, а квартиру предоставил Вигелю. Это было доброе предзнаменование: бесплатная квартира с услугами, с дровами и даже с поваром.

Человек бесцеремонный, Вигель расположился как у себя дома, а на следующий день отправился навещать старых знакомых. У них он досыта наслушался вестей о событиях, происшедших в стране за последние месяцы. И то сказать, это был достопамятнейший год в истории России. Но Вигеля во всех происшествиях интересовало лишь одно: где искать места, в каком

ведомстве, у какого вельможи просить протекции. А тут еще пришла новая забота: в сенат поступила жалоба на действия Вигеля, который, исполняя должность кишиневского губернатора, сдал без торгов купцу Левинсону поставку топлива для казарм и казенных зданий города. Надо было действовать.

Вигель вспомнил, что давно уж ему следовало представить-ся престарелому министру внутренних дел Василию Сергеевичу Ланскому. С ним Вигель прежде был немного знаком. Старик добрый, может быть, даст хороший совет, а то и поможет устроиться на службу. Болезнь глаз послужит оправданием тому, что Вигель является на визит с опозданием.

Когда Вигель вошел в просторное здание министерства, его удивила пустота помещения, обычно переполненного чиновниками и посетителями. Точно из улья вылетели пчелы. Одинокие фигуры бродили по коридорам и приемным. Изредка отворялась дверь из какого-нибудь кабинета и показывался господин в мундирном фраке с портфелем. Не торопясь, господин переходил в другую комнату, и снова становилось тихо и пусто.

В приемной у министра, кроме Вигеля, никого не было. Ожидать не пришлось. Дежурный чиновник пригласил его в кабинет. Василий Сергеевич Ланской сидел в своем высоком кресле и о чем-то думал, опершись рукою о подлокотник. Несмотря на свои семьдесят лет, лицо он имел свежее, взгляд открытый, ясный, благожелательный. Он сердечно пожал Вигелю руку, усадил в кресло против себя и стал расспрашивать о житей-бытье.

Вигель, отвечая пространно на вопросы старика, постарался не упустить случая и склонить Ланского на свою сторону в деле, которое его тревожило, а заодно уж и пожаловаться на графа Воронцова.

— Подумайте сами, ваше высокопревосходительство: сторуна у нас безлесная. Топят всем, что только попадется: камышом, кукурузными початками, жгутами соломы, бурьяном, киззяками. На торги никто не является. Дело малое и почти всегда убыточное. Спасибо купцу Левинсону, выручил, чтобы не терять связей с казенной палатой и барышами по винному откупу покрыть потери от топлива. А граф требует соблюдения всех формальностей, то есть затяжки дела. Если так действовать, то и зима пройдет. Мы заморозим солдат, которым надо быть готовыми в любой момент выступить против врага. Да и чиновники в присутственных местах нам спасибо не скажут, как начнут по нашей вине кашлять и чихать.

— Что же сделал граф Воронцов?

— Своей властью расторгнул контракт и ввел купца Левинсона в большие убытки.

— Вы правы. Это ошибка графа. Контракт — дело святое. Но ежели при его заключении допущены нарушения закона, то с виновных надо взыскать в административном порядке.

— Граф рассудил иначе, ваше высокопревосходительство.

— Не понимаю. Полагаю, что вас, как непосредственного виновника упущений при сдаче подряда, он-то уж, наверное, наказал. В приказе нагоняй отдал? Или с должности снял?

— Ничуть не бывало. Напротив. Граф был ко мне очень милостив и даже дал продолжительный отпуск для отдыха и лечения.

— Тогда сам в ответе будет. Я не состою в сенате, на его решения влиять не могу, но смею вас заверить, что контракт будет восстановлен, а убытки Левинсона взыщут с казны. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что в споре с графом победа будет за вами.

Вигель едва мог скрыть улыбку торжества. Ланской помолчал, с грустной лаской посмотрел на Вигеля и продолжал:

— А я, признаться, думал, что вы ко мне по другому делу.

— Я, ваше высокопревосходительство, явился к вам вовсе не по моим служебным делам, а просто. чтобы засвидетельствовать мое глубокое почтение, благо я уж в Петербурге...

— Так-то так. Кишиневский вице-губернатор явился к министру внутренних дел. Мудреного ничего нет. А все же говорить нам придется не о глубоком почтении, а о деле и притом неприятном деле.

— В толк не возьму, ваше высокопревосходительство, о чем изволите речь вести.

— А вот о чем. В мою канцелярию поступила жалоба на вас от молдаванского бояра Николая Рознована. Пишет, что вы отказали его отцу, Россету Розновану, в выдаче заграничного паспорта. Отец же его собирался в Яссы, Трабзунд и другие города Валахии и Турции по коммерческим делам, для чего-де накупил разных товаров, а продать их не мог и по вашей вине потерпел убытки. Теперь ищет их с вас.

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, ведь отец Николая Рознована не купец, а помещик, гильдии не платит,

когда же просил о паспорте, то не объявлял, что намерен возить за границу какие-либо товары.

— Все так, но почему же вы отказали ему в выдаче паспорта без уважительной причины?

— Судите сами, ваше высокопревосходительство, время-то какое было! Греческие гетеристы взбунтовались, турки двинули против них свои войска, наша вторая армия расположила свои части вдоль всей границы. Каждую минуту ждали, что откроются военные действия. А по секретным сведениям стало известно, что многие из местных жителей, особенно молдаване, осведомляют турок о численности и дислокации наших войск. Известясь, что шпионы и разведчики шныряют взад и вперед через наши рубежи, я счел необходимым создать препоны для подозрительных и не заслуживающих доверия лиц, чтобы без нужды не сообщались с турками и не переносили секретных военных сведений.

— М-м-да! Цель, значит, у вас была патриотическая. Все же вы напишите мне, на всякий случай, объяснительную записку, где все, все эти ваши доводы, мотивы и соображения изложите коротко и ясно. У вас перо бойкое, я знаю. Чиновник, которому поручено ваше дело, составит соответственное заключение.

Старик опустил голову и как будто задремал. Устал, должно быть. Надо было встать и откланяться. Но Ланской сам очнулся от полузабытия.

— Ну-с, не смею задерживать. Будьте здоровы. Все же на прощание хочу дать вам добрый совет.

— Рад слушаться!

— Хотя, судя по всему, оба ваши дела должны окончиться в вашу пользу, однако не советую ссориться с графом Воронцовым. Вам еще с ним служить и служить. А граф человек самолюбивый, избалованный и не простит вам успеха в этих делах.

— Позвольте мне, ваше высокопревосходительство, быть уж с вами откровенным до конца, как с отцом родным. Я-то как раз думаю, что мне с графом больше не служить и свой продолжительный отпуск рассматриваю как намек графа на то, чтобы я приискал себе другое занятие.

— Возможно; возможно. Это похоже на его сиятельство.

— Вот я и подумал, не могут ли мои знания и способности пригодиться здесь, в вашем ведомстве? Признаюсь, я дав-

но хотел просить об этом ваше высокопревосходительство, да все как-то язык не поворачивался.

— Какие у меня теперь места? Я и сам скоро буду без места. Разве вы не знаете, какие изменения произошли в высших государственных учреждениях? Министерство полиции от нас уже отобрано. И это только начало. То ли еще будет?

— Нет, ваше высокопревосходительство, не слыхал. Для меня все эти перемены — решительная новость.

— Еще много новостей услышите! Пока не время говорить о них. Еще раз советую вам помириться с графом Воронцовым!

— Благодарю за добрый совет, но позвольте мне говорить откровенно. Разве положение самого графа при новых веяниях можно считать таким прочным? Вам хорошо известно, сколько жалоб на него подано за последнее время и в Сенат и в Государственный Совет. Завистников и претендентов на высокий пост, занимаемый графом, хоть отбавляй. Репутация у графа, известного либерала, политически сомнительная. Правда, за него большие заслуги в управлении двумя большими областями, но молодой государь не успел еще оценить административных талантов графа Воронцова, так что еще неизвестно, как обернется дело.

— Все так, но я вас заверяю, что граф останется на высоте. Уж поверьте моему опыту. Кроме того, у него теперь при дворе сильная рука.

— Осмелюсь спросить, чья?

— Чья, чья? О таких вещах не спрашивают. И уж во всяком случае ответа не получают. Имею честь кланяться.

* * *

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Болезнь глаз обострилась. Веки распухли и покраснели. Нестерпимая боль мешала видеть. Лечение домашними средствами: примочками, глазными каплями и компрессами — не помогало. Пришлось обратиться к врачу. По совету друзей Вигель пригласил к себе лейб-окулиста Осипа Ивановича Груби. Это был врач, прекрасно знавший свое дело, мягкий в обращении и словоохотливый. Лечение было долгим и мучительным: шпанские мушки за ушами сменялись кровопусканиями, часто ставились пиявки и давались внутрь проносные лекарства. Вигель стал

опасаться, как бы врач, желая спасти глаза, не погубил его тело. Однако результаты лечения оправдали усилия лейб-окулиста. Глаза получили явное облегчение. Больной уже мог сидеть у окна и любоваться прекрасным видом на величественную Неву. Правда, Вигель похудел, но и это пошло ему на пользу. Доктор Груби продолжал навещать его, но уже не для лечения, а потому что привык к интересным беседам с ним.

Однажды Груби сказал Вигелю:

— А знаете, вчера со мною об вас говорили.

— Где, кто, по какому поводу?

— Граф Воронцов у себя дома. А повод простой: граф болен тою же болезнью, что и вы.

Вигель притворился удивленным.

— А я и не знал, что граф в Петербурге, иначе давно уж засвидетельствовал бы ему свое почтение. Надеюсь, вы сообщили его сиятельству, что болезнь помешала мне выполнить сию приятную обязанность?

— Как же, как же, я говорил графу, что вам еще выход из дому запрещен. Впрочем, болезнь ваша уже на исходе и через несколько дней вы сумеете ходить куда вам будет угодно.

После болезни у Вигеля некоторое время оставалось еще ощущение слабости, но он все же совершал по городу небольшие прогулки, постепенно окреп и, наконец, решился навестить графа Воронцова.

Граф принял Вигеля с ласковой благосклонностью. Общая болезнь как бы уравнивала положение. Сначала поговорили о врачах. Воронцов хвалил лейб-окулиста Лерхе, услугами которого он пользовался, хотя лечил его доктор Груби, и пообещал, что пришлет Лерхе к Вигелю для консультации, так как болезнь может повториться. Кроме того, граф пользовался советами знаменитого лейб-медика Арендта и еще четырех врачей. Когда, называя их, Воронцов дошел до седьмого, Вигель не удержался от каламбура:

— Берегитесь, ваше сиятельство, у семи нянек дитя без глаза.

Воронцов снисходительно посмеялся, и беседа приняла свободный и непринужденный характер. Правда, Воронцов упомянул о деле Левинсона, но не для того, чтобы упрекать в чем-либо Вигеля. Напротив, он признал, что поступил опрометчиво.

— Может быть, я и не прав, — закончил он примирительно, — но дело теперь в Сенате, пусть он нас и рассудит.

Зашла речь и о службе Вигеля. Так или иначе, а вопрос этот надо было решить. Граф согласился с тем, что Вигелю неудобно возвращаться в Бессарабию после того, что там с ним произошло. После некоторого раздумья Воронцов предложил Вигелю занять пост градоначальника в Керчи-Еникале. Вигель, удивленный, молчал.

— Подумайте над выгодами вашего нового положения. Во-первых, власть почти неограниченная. Во-вторых, большое содержание. В-третьих, широкое поле для созидательной деятельности. В-четвертых, пятых и шестых — начальство над флотилией, имя в истории, и, может быть, статуя после смерти.

Шутил ли граф или говорил серьезно, но предложение было очень заманчиво. Все же Вигель опасался сразу дать ответ и этим связать себе руки. Пугала необходимость уехать далеко от Петербурга. Но и в Петербурге ничего подходящего не было.

— Разрешите мне, ваше сиятельство, недельку на размышление.

— Как вам будет угодно.

Прошло больше недели, а Вигель не спешил с ответом. Все же в «Правительственном вестнике» был опубликован высочайший указ о назначении Вигеля керчь-еникальским градоначальником. Графа Воронцова в столице уже не было. Можно было не благодарить за услугу, которая принималась скрепя сердце.

Двор собирался в Москву на коронационные торжества, и Петербург постепенно пустел. Опасаясь, что и Ланской уедет, Вигель поспешил к нему с прощальным визитом в тайной надежде, что министр все-таки сумеет избавить его от неприятной обязанности служить на пустынном юге.

Старик принял Вигеля с обычным своим радушием, поздравил с лестным повышением по службе и пожелал успехов.

— Разумно, разумно поступили, что помирились с графом Воронцовым. Очень рад, что ваши нелады так хорошо закончились. Граф, должно быть, отлично аттестовал вас государю.

— Все так, ваше высокопревосходительство. Не вы один меня поздравили с новым назначением. Значит, умные люди считают, что мне остается только благодарить его сиятельство, графа Воронцова, за великодушие и принять высокий, хотя и далекий пост. А вам я откровенно скажу, что не лежит у меня душа к полуденной стороне. Я бы готов был остаться на гораздо низшей должности, только бы не покидать Петербурга.

— Вы все о том же. Да знаете ли вы, какие изменения произошли в высших государственных учреждениях? Теперь, чтобы получить производство в высшие чины, надо иметь не домашнее образование, а университетский диплом.

— Известно ли вашему высокопревосходительству, что одновременно с назначением на пост керченского градоначальника я произведен в статские советники?

— Как же не известно, когда я сам же и представлял вас.

— Простите, что я по неведению даже не поблагодарил вас за такое милостивое внимание.

— Ладно, сочтемся, не в этом дело. Я и представил вас, зная, что диплома у вас нет, а если не представить теперь, так потом уж будет поздно.

— А я-то думал, что новый чин даст мне возможность и в министерстве внутренних дел занять приличное положение.

— Министерство внутренних дел нынче само переживает переходный период, и кто знает, что от него останется. Особая канцелярия по секретной части, которая существовала при министре внутренних дел, нынче переименована в Третье отделение собственной его величества канцелярии. Фон-Фок остался одного управляющим, а Бенкендорф назначен главноуправляющим. Одновременно генерал-адъютант Бенкендорф назначен и шефом корпуса жандармов, которому поручен надзор за порядком в целом государстве.

— Какая же цель учреждения сего нового рода полиции?

— Цель, кажется, двоякая. Жандармы обязаны открывать всякие дурные умыслы против правительства и, если где станут проявляться смелые политические идеи, препятствовать их распространению.

— Ваше высокопревосходительство, неужели дотоле не было в России ни малейшего порядка? Разве не было прокуроров, губернаторов, наконец, городских и земских полиций? Неужели везде в нашей родине царствовало беззаконие? А если было и есть так, может ли все это исправить горсть армейских офицеров, кое-как набранных и одетых в голубые мундиры? Цвет этот стал как бы одеждою доносчиков и производит отвращение даже в тех, которые решились его надевать.

— Ну, уж если мы с вами, любезный Филипп Филиппович, будем все новое осуждать да хаять, так что уж говорить о лавочниках и мещанах? Скажите лучше, представлялись ли вы государю?

— Я не считал себя настолько важною персоной, чтобы претендовать на такую честь.

— Если не представлялись, так должны, по крайней мере, откланяться: это необходимо.

— Завтра же обращусь к графу Литта с просьбой об аудиенции. А к вам, ваше высокопревосходительство, у меня имеется особое ходатайство.

— Что еще?

— При определении в должность все губернаторы получают известную сумму на подъем и путевые издержки. О градоначальниках на этот счет указаний в законах нет. Вероятно, все довольно богаты, чтобы не хлопотать о том. Мне же трудно было бы без того обойтись.

— Пришлите мне записку, я представлю ее в комитет министров.

* * *

Между тем печальные события следовали в столице одно за другим: сначала смерть великого русского писателя и ученого историка Николая Михайловича Карамзина, затем кончина вдовствующей императрицы Елизаветы Алексеевны, наконец, казнь пятерых, осужденных «вне разряда» возмутителей 14 декабря. Все это омрачало умы жителей столицы и не предвещало ничего радостного новому царствованию. Двор поспешил покинуть Петербург и отправился на коронационные торжества в Москву.

Молодой государь поселился с семьей в Чудовом дворце, а приближенные его заняли помещения в разных зданиях Кремля. Иные нашли приют у родных и близких, а у иных были в Москве свои дома.

Невзирая на постоянное участие в торжествах, процессиях и церковных службах, Николай работал дни и ночи, вызывая удивление министров своею работоспособностью и неутомимостью. Он даже находил время и силы, чтобы танцевать на официальных приемах, которые давали в его честь иностранные послы.

Особенно интересовало государя отношение жителей первопрестольной столицы к последним петербургским событиям. И тут-то должна была проявить себя деятельность двух новых сыскных учреждений: корпуса жандармов и Третьего отделения собственной его величества канцелярии.

Фон-Фок это прекрасно понимал и поэтому он спешно подбирал агентуру и давал ей задачу выяснить состояние умов.

Сам главноуправляющий Третьим отделением собственной его величества канцелярии и шеф корпуса жандармов генерал-адъютант Бенкендорф, находившийся неотлучно при особе государя, был совершенно измучен непрерывным бдением. У него уж завелись свои льстецы и ласкатели, его наперебой приглашали в богатые дома на званые вечера, ему оказывали лестное внимание самые блистательные дамы. Где уж тут было вникать в дела! И он подписывал, не читая, все, что ему подсовывал Фон-Фок. Этот чувствовал себя в своей стихии. Ему была предоставлена полная свобода действий, и он пользовался ею с полным пониманием целей и умелым употреблением средств. Своего шефа он раскусил быстро и оценил по достоинству. Бенкендорф не мог вникать в суть дел, но он стоял ближе всех к особе государя и впитывал в себя малейшее проявление царской воли. Поэтому Фон-Фок заботился только о том, чтобы узнать от Бенкендорфа, чего добивается государь, как он расценивает те или другие донесения и каковы его намерения в каждом отдельном случае.

В одной из комнат, близких к апартаментам государя, Фон-Фок, подтянутый и бодрый, докладывал Бенкендорфу о последних достижениях своего ведомства, а тот смотрел на него сонными, спущенными от непрерывного бдения глазами. Белокурые реденеющие волосы генерала были еще не причесаны, а тонкие усики лезли в рот, и он их раздраженно покусывал.

Фон-Фок говорил:

— Кумиром партий, пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революции и верящих в возможность конституционного правления, является Пушкин, революционные стихи которого, как «Кинжал», «Ода на вольность» и т. д., переписываются и раздаются направо и налево.

Бенкендорф в глубине души не любил Фон-Фока и побаивался его, так как был в полной зависимости от своего трудолюбивого и осведомленного помощника. Поэтому он время от времени старался показать, что у него есть собственное мнение и что ему известны высшие государственные соображения, скрытые от Фон-Фока.

И теперь он возразил:

— За это господин Пушкин уже пострадал при покойном государе. Надо бы найти что-нибудь поновее. Его величество

проявил милость к известному поэту и без основательной причины не переменит к нему своего отношения.

— Извольте. Из агентурных сведений стало известно, что в Москве имеют распространение пушкинские стихи на 14 декабря, стихи возмутительные. Копии оных уже обнаружены у двух офицеров: штабс-капитана Алексеева и прапорщика Молчанова.

— Обоих арестовать и произвести строжайшее следствие. Выяснить при этом, действительно ли оные стихи сочинены Пушкиным или автор их кто-нибудь другой.

— Оба арестованы, следствие производится и выяснит все обстоятельства. Может быть, придется допросить сочинителя, господина Пушкина, но я не решился бы это сделать без прямого разрешения его величества. Поэтому прошу вас доложить государю об этом деле, но пока еще очень осторожно. Так сказать, предположительно.

— Само собою. Однако этого мало для доклада о деятельности нашего ведомства. Государю важно знать состояние умов в разных слоях общества.

— Есть еще сведения, что юнкер Зубов рубил саблей бюст покойного государя императора, приговаривая словами: «Так рубить будем всех тиранов, царей русских».

— Ну, это сумасшедший какой-то. Посадить в желтый дом!

— Он же громко читал стихи Пушкина на покойного государя:

В столице он — капрал,
В Чугусве — Нерон,
Кинжала Зандова везде достоин он.

— Поймите, любезный Максим Яковлевич, что за стихи на покойного государя и за проявление вольнодумства господин Пушкин был достаточно наказан в прошлое царствование. Ныне же благополучно царствующий государь император милосердово простил поэта с тем, однако, что господин Пушкин переменит свой образ мыслей. Поэтому нам нужны доказательства новых проявлений его вольнодумства или злоумышления на существующие порядки.

— Полагаю, что и за этим дело не станет. А покуда я подберу вам соответствующий материал, не угодно ли вам будет ознакомиться с донесением отставного полковника Ивана Петровича Бибикова, человека почтенного и образованного.

Бенкендорф зевнул: «Доложите вкратце».

— Студент Московского университета Александр Полежаев написал похабную поэму «Сашка» в подражание поэме Пушкина «Евгений Онегин». Стихи не только непристойные, но и вольнодумные. Автор донесения винит Московский университет в том, что там учат студентов не почитать родителей и не признавать властей.

— Это донесение прикажите переписать каллиграфически на меловой бумаге. Представим его государю как анонимное. Не будет беды, если следствием по этому делу будут задеты попечитель университета и даже министр народного просвещения. Полковника Бибикова причислить к штату по корпусу жандармов: он еще пригодится.

Прежде чем показывать государю донос Бибикова, Бенкендорф внимательно ознакомился с его содержанием. Опытный сыщик сообщал: «Для сведения по секретной части.

О Московском университете

Просвещение в науках только тогда полезно государству, когда ум и сердце юношей озаряются вместе с оным светом божественного учения и строгой нравственности. Но в Московском университете, а паче в Благородном пансионе Московского университета, не токмо не обращают внимания на их душевные свойства, но даже не имеют ни малейшего надзора за их поведением.

Профессоры знакомят юношей с пагубной философией нынешнего века, дают полную свободу их пылким страстям и способ заражать умы младших их сотоварищей. Вследствие таковой необузданности к несчастью общему видим мы, что сии воспитанники не уважают закона, не почитают родителей и не признают над собою никакой власти.

Я привожу здесь в пример университетского воспитания отрывки из поэмы московского студента, Александра Полежаева, под заглавием «С а ш к а» и наполненной развратными картинками и самыми пагубными для юношества мыслями. Делая картину России, он говорит:

А ты козлиными брадами
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями
Отчизна глупая моя!

Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей?
Когда ты свергнешь с себя бремя
Твоих презренных палачей!
Аминь, ни слова о науках!
Черты характера сего!
Свобода в мыслях и поступках
Не знать судьбою никого!
Ни подчиненности трусливой,
Ни лицемерия ханжей,
Но жажда вольности строптивой
И необузданность страстей.
Судить решительно и смело
Умом своим о всех вещах
И тлеть враждой закоренелой
К мохнатым шельмам в хомутах.
Конечно, многим не по вкусу
Такой безбожный сорванец,
Но хоть не верит он Исусу,
А, право, добрый молодец.
Вот все, чему он научился!
Свидетель — Университет!

К доносу была приложена вся поэма, переписанная в красной тетради.

Бенкендорф думал, что государь не станет читать непристойной поэмы и ограничится только ознакомлением с анонимным письмом. Но он ошибся: Николай прочитал всю тетрадь от корки до корки.

— Кто бы ни был автор этого письма, но он прав! — произнес задумчиво государь. — Народное воспитание — дело первостепенной важности. Этим надо будет заняться. Но какая испорченность нравов! Я этому положу конец! Студента Полежаева ночью поднять с постели и доставить к ректору университета. Ректор пусть в своей карете повезет его к попечителю, тот в свою очередь свезет его к министру народного просвещения, а уж министр привезет его ко мне рано поутру.

На этот раз генерал Бенкендорф не понял воли и намерений своего повелителя. Тем не менее он произнес, как обычно:

— Слушаюсь, ваше величество. Будет исполнено в точности!

* * *

В ту памятную ночь студент Полежаев бражничал с приятелями в одном из дешевых московских трактиров. Пили, ели и закончили короткую летнюю ночьку в зланных местах на

Грачевке. Усталый, он еле доплелся до номеров на Никитском бульваре, где проживал. Трещала голова и мучительно хотелось спать. Но только он разделся и улегся в постель, как в дверь сильно постучали. Полежаев поднял голову и прислушался: к нему ли? Нет ли ошибки? Но стук повторился. Полежаев встал, набросил на себя шинель, нащупал в темноте ключ и отпер дверь. К его изумлению, перед ним стоял ректор университета Антон Антонович Прокопович-Антонский, которого студенты между собою звали «Три Антона». Коридорный слуга держал перед ним свечку, чтобы тот мог разглядеть номер на двери.

«Три Антона» неловко перешагнул через порог и вошел в комнату.

— Одевайтесь, студент Полежаев, немедленно одевайтесь и следуйте за мною.

— Куда? Зачем? Я спать хочу!

— Не спрашивайте и повинуйтесь!

— Да кто меня требует среди ночи?

— Министр по высочайшему повелению.

Полежаев дрожащими руками надел свой лучший студенческий мундир, а ректор осмотрел его со всех сторон: нет ли пятнышек, все ли пуговицы на месте. Сам обчистил его метелочкой сзади и тогда только сказал: «Ну, идите с богом! Ни пуха, ни пера!».

На улице стояла карета. Ректор посадил в нее Полежаева, уселся рядом и приказал кучеру: «К его сиятельству князю Оболенскому». Попечителя они застали уже одетым. Тот посадил студента в свою карету и отвез к министру народного просвещения адмиралу Шишкову. Министр отпустил попечителя, велел запрягать выездную коляску и поехал с Полежаевым в Кремль к Чудову дворцу.

Светало. Несмотря на ранний час, в приемной государя находилось много народа. Увидя министра народного просвещения вместе со студентом, многие подумали, что студент чем-то отличился и его привезли к государю для награды. Один из сенаторов подошел к Полежаеву, поговорил с ним и предложил, чтобы тот давал уроки его сыну. Но в это время Полежаева позвали, и разговор прекратился. У самой двери в кабинет государя еще пришлось подождать, и, наконец, вышел сам министр, сделал Полежаеву знак, отворил дверь, впустил его и плотно прикрыл дверь. В кабинете Полежаев увидел молодого художавого гене-

рала с усталыми глазами. Государь еще не ложился — работал всю ночь.

В руках у него была тетрадь. Государь протянул тетрадь Полежаеву и остановил на нем испытующий взгляд.

— Ты ли сочинил эти стихи?

— Я, ваше величество.

Государь обратился к Шишкову.

— Вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух!

У Полежаева от волнения перехватило горло.

— Не могу!

— Читай!

Сначала Полежаеву было трудно читать: голос прерывался, хрипел, но постепенно оправился и дочитал поэму до конца.

— Что скажете? — снова обратился государь к министру.

Тот стоял, прикрыв глаза рукою.

— Я положу предел этому разврату. это все еще следы, последние остатки. Но я их искореню. Какого он поведения?

— Превосходнейшего поведения, ваше величество!

— Этот отзыв тебя спас. Но наказать тебя надобно для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я даю тебе возможность очиститься военной службой. Что же, хочешь?

— Я обязан повиноваться!

Государь подошел к нему, положил ему руку на плечо и сказал:

— От тебя зависит твоя судьба. Если я забуду, то можешь мне писать.

И поцеловал его в лоб. Так целовал он иногда во время допросов участников декабрьского восстания, прежде чем посылать их на муку.

Полежаева увели, и государь обратился к Шишкову.

— Покойный государь был счастливее меня. Когда ему нужен был совет, он мог обратиться к Николаю Михайловичу Карамзину. Вы сами видите, что в деле воспитания нашей молодежи не все благополучно. А как исправить это? Кто мне скажет?

— Ваше величество, всем ведомо, что со смертью прославленного историка Руси отлетела чистейшая из душ челове-

ских. Но если коснемся воспитания русского юношества, то именно он-то, свет-Николай Михайлыч, во многом виноват. С чего начинается воспитание младенца? С родного языка! А благодаря ему все слова, с учением связанные, у нас иноземного происхождения: университет, лицей, пансион. Он-то и завел их. Почему не сказать: училища — низшее, среднее или высшее. То есть места, где учат.

— Не в слове дело. А важно, как учат, чему учат и кто учит.

* * *

Из Чудова дворца адмирал Шишков отправился к министру внутренних дел Ланскому. Тот уже знал обо всем и встретил Шишкова словами:

— Бывший студент Полежаев по приказанию барона Дибича определен старшим унтер-офицером в пехотный Бутырский полк. Только я в толк не возьму, за что, в чем его преступление?

— Вот и я, ваше высокопревосходительство Василий Сергеевич, не могу понять, почему государь так разгневался на бедного юношу. Что особенного в его поэме? Грубость? Непростойность? Так ведь это не государственные преступления. Все мы читали в свое время стихи Баркова, и никому не приходило в голову придавать им какой-нибудь политический смысл. Да один ли Барков? И Нелединский-Мелецкий, и князь Дмитрий Голицын, и другие русские стихотворцы немало такой «барковщины» пустили по свету. Да что говорить! Смирнейший из смиренных, Василий Львович Пушкин, дядя знаменитого племянника, написал «Опасного соседа», вещицу забавную, но ни для какой печати непригодную. Однако, хотя мы ее и не допустим к тиснению, а в своем кругу не без удовольствия прочитаем.

Полежаев только в том и виноват, что пользуется коренными русскими словами и не прибегает к иностранным иносказаниям. И дельно! Блудницу зовет коротким русским словом, без обиняков, как в народе.

— Увы, Александр Семенович, могу выразить вам сочувствие. Нынче при дворе русский язык не в чести. Кому он теперь нужен? Немцам? Нессельроде, Фон-Дибич, Фон-Фок, Бенкендорф, Клейнмихель и иже с ними в русском языке сами не сильны. Между собою говорят по-немецки, а в обществе по-французски.

— Этого юношу, Полежаева, я давно знаю. Он сын богатого помещика Струйского от крепостной девки Степаниды. Фамилия у него от вотчина, который «прикрыл» материнский грех. На торжественном акте 12 января сего года, то есть в Татьянин день, он читал оду своего сочинения «В память благотворений императора Александра I императорскому московскому университету». А на выпускном вечере в том же году читал стихотворение «Гений», которое написал по поручению университетского начальства. Оба сии стихотворения были мне препровождены через попечителя. Я ознакомился с ними и оные вполне одобрил. С душой молодой человек, с умом и дарованием. А вот теперь обращен в военную службу! Кто бы мог ожидать такого конца?

— У него еще все впереди. Может быть, дослужится до фельдмаршала.

— Навряд. Скорее сложит где-нибудь буйную голову или совсем сохнет. Жаль, жаль молодца!

— Скажите, Александр Семенович, а генерал Бенкендорф присутствовал в кабинете государя при чтении поэмы?

— Нет, его не было.

— Вот он всегда так. Кашу-то заварил, а потом сам в кусты.

Шишков наклонился к уху Ланского и заговорил, понизив голос:

— Как русский адмирал заверяю вас, что у нас на флоте все офицеры от мичмана до адмирала, не говорю уж о боцманах, все как один, ругатели и выпивохи, драчуны, народ разгульный, а ведь герои, да еще какие! Кто посмеет возразить против сего?

Ланской улыбнулся и развел руками:

— Ничего не скажешь!

* * *

На следующий день вся Москва только и говорила, что студент Полежаев исключен из университета за какую-то непечатную поэму, что по высочайшему повелению он сдан в солдаты, однако за ним признано право на личное дворянство по образованию и чин 12-го класса. Несчастливого молодого человека открыто жалели:

— Кто богу не грешен, царю не виноват?

— Пошалил юноша, так сразу и в солдаты...

Винили во всем немцев, особенно же Бенкендорфа и Фона. А про Шишкова сочувственно шептали, что именно он распорядился сохранить за Полежаевым право на дворянство и чин.

Интерес к «Сашке» возрос необычайно. Командир пехотного Бутырского полка подождал денька два и приказал фельдфебелю послать к нему нового старшего унтер-офицера Полежаева:

— Да научи его являться к командиру по форме!

Фельдфебель неукоснительно выполнил приказ и к вечеру Полежаев стоял навтыжку перед полковником и отчетливо произносил:

— Ваше высокоблагородие, по вашему приказанию явился старший унтер-офицер восьмой роты пехотного Бутырского полка Александр Полежаев.

— Вольно! Ну, как вам служится? Привыкаете?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Ну, бог милостив, авось дослужитесь до высоких чинов. Вы человек образованный. А, кстати, вы пострадали за какие-то стихи?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— А нельзя ли мне познакомиться с вашей поэмой? «Сашка», так, кажется, она называется.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие, только осмелюсь доложить, что единственный экземпляр моей поэмы у меня изъят и передан его императорскому величеству.

— Ну, если так, другое дело! Жаль! Идите, вы свободны.

* * *

Соболевский сидел за ужином у Василия Львовича Пушкина и уплетал паштеты и майонезы, запивая французскими винами. Разговор шел о Полежаеве и его злосчастном произведении.

— Вот она, эта поэмка! — сказал Соболевский и вынул из бокового кармана маленькую потрепанную тетрадку. — Называется «Сашка». Если желаега, можете полюбопытствовать. Содержание забавное, хотя стишки незрелые, шершавые. На первый взгляд как будто подражание «Онегину», а, по-моему, скорее вашему «Опасному соседу». Я говорю о содержании, конечно, потому что строфы похожи на онегинские.

Василий Львович огляделся по сторонам и опасливо взял в руки заветную тетрадку.

— Оставьте ее, я прочитаю и потом вам верну.

— Пожалуйста. За чтение этой поэмы не наказывают. А знаете, ведь если до правительства дойдет ваш «Опасный сосед», боюсь, что и вам придется держать ответ перед Бенкендорфом, а, может быть, и перед самим государем. Счастье ваше, что стихи иногда приписывают Александру.

И Соболевский лукаво улыбнулся.

— Извините, — ответил обидчиво Василий Львович, — все знают, то есть я имею в виду образованное общество, что я автор «Опасного соседа». И, если спросят, отречься не буду.

— Про то я и говорю. Значит, вы и ответите. В солдаты вас, конечно, не сдадут, но в деревню сослать могут.

— За что, помилуйте? «Опасный сосед» — вещь совершенно безобидная с политической точки зрения. Только она не для прекрасного полу написана, так это дело десятое.

— Это еще как Третье отделение посмотрит.

— Полноте, рассказ о Буянове — просто шутка. Допускаю, шутка дурного тона...

— То-то, что дурного тона. За это теперь и взыскивают!

* * *

Вигель получил на подъем и путевые издержки пять тысяч рублей ассигнациями и, хочешь не хочешь, принужден был отправиться в Керчь к месту своей новой службы.

Москва встретила его грустно. В семье сестры он застал горе и отчаяние.

— Александр арестован! — сообщила ему сестра ошеломляющую новость.

— Как так? За что?

— И сами не знаем. За какие-то стишки, пушкинские, кажется.

— И давно?

— С месяц тому назад буквально влетел в нашу квартиру какой-то адъютантик и, не поклонившись как следует генералу, закричал: «Ваш сын преступник! Вас комиссия требует к себе!» Илья Иванович, хотя и не был в добром здравии, однако оделся и поехал с адъютантом. Привезли его к генералу Потапову. Там уже был Александр под стражей. «Уговорите сына, чтобы

он открыл комиссии всю правду!» Ну, Илью ты знаешь. Он в правде черт! Разволновался, раскричался, грозился проклясть Александра. А тот, бедный, плачет, но стоит на своем: «Не помню, мол, от кого получил список». — «Как так?» — «Не придавал ему никакого значения». Так никакого толку из этой встречи и не вышло. А Илья мой, как вернулся обратно домой, так и слег. Его хватил легкий удар. Теперь понемногу оправляется, но еще не встает. И волновать его нельзя. А все, говорят, это дело рук Фон-Фока и Бенкендорфа.

— А чьих же еще?

Вигель постоянно вел записки. И на сей раз он отметил в своей тетради: «В сентябре сия черная туча поднялась над Россией и на многие годы залегла на ее горизонте».

ГЛАВА ВТОРАЯ

МОСКВА



ЕЩЕ в Одессе Пушкин замышлял побег за границу. Но там это казалось простым делом: стоило только раздобыть билет на какой-нибудь корабль, будь то пироскаф, бригантина или шхуна — все равно, сговориться со шкипером, а не удастся, так с вахтенным матросом, незаметно пробраться в какое-нибудь потайное место, чтобы таможенные власти не спросили заграничного паспорта, дожидаться отхода — и все.

Пусть только корабль снимется с якоря и двинется в путь, как можно считать себя уже за пределами досягаемости для русского правительства, потому что борт корабля есть рубеж, а палуба его — территория чужого государства. Все корабли идут от Одессы до Константинополя без остановок. А турецкие чиновники за скромный бакшиш пропускают всякого в город без паспорта. И началась бы новая жизнь. Вена и Париж, Рим и Лондон, театры и журналы, образованное общество и политические споры манили воображение и казались легко достижимыми.

Однако замысел остался неосуществленным. «Могучей страстью очарован, у берегов остался я», — писал вскоре поэт. Была ли причиной неудачи могучая страсть или просто неосторожность поэта, который посвящал в свои сокровенные планы

многих людей и в их числе своего легкомысленного брата Левушку, но, во всяком случае, его прямой начальник и открытый враг, граф Воронцов, узнал, что Пушкин собирается бежать морем. Узнал и о том, что княгиня Вяземская хлопочет для него о билете на корабль и достает деньги, — узнал и принял меры: поспешил донести обо всем в Петербург, чтобы Пушкина улади куда-нибудь подальше от берегов Черного моря. И Пушкин очутился в псковском захолустье.

«Не забавно умереть в Опочецком уезде», — говаривал поэт, и мысли о побеге из Михайловского овладели им с новой силой.

Дни тянулись медленно и однообразно, а время летело и события мелькали, как частокол. Вдруг до Пушкина донеслась невероятная, но обнадеживающая весть: умер император Александр. Умер в Таганроге по пути в столицу. Странная загадочная кончина еще не старого государя вызвала в народе множество толков, рассказов, догадок и слухов. Говорили даже, что царь не умер, а, наскучив престолом, скрылся, чтобы стать схимником.

Наследником был великий князь Константин Павлович. Он не мог питать к опальному поэту никаких враждебных чувств. Пушкин думал, сверял известия и, убедившись в том, что кончина царя Александра вызвала в народе большую смуту, решил использовать сумятицу и тайком уехать в Петербург, рассчитывая, что его отъезд из деревни не сразу будет замечен и во всяком случае не вызовет тяжелых последствий. В душе Пушкин положил не останавливаться ни у родных, ни в трактире Демута, а заехать к Рылееву. Там никто его не отыщет. Рылеев будет ему рад, как брату, а главное в том, что Рылеев состоит на службе в Русско-Американской торговой кампании и легко сумеет устроить ему побег на одном из паровых кораблей.

Замысел не удался. Никита напился пьян, а без него Пушкин ехать не хотел. Когда же Никита протрезвился и коляска тронулась, на самом перекрестке заяц перебежал им дорогу. Пушкин заколебался: ехать дальше или вернуться домой. Но в это время навстречу лошадям по большой дороге показался поп Иона, прозванием Шкода, которому было поручено духовное наблюдение за поэтом. Пришлось вернуться восвояси. Но не суеверие было тому причиной, а просто поп тотчас же донес бы псковскому губернатору Адеркасу, что михайловский барин самовольно покинул родное поместье.

Надо было ждать, как развернутся события. Пушкин снова зачастил в Тригорское и там коротал время за вистом с хозяйкой, Прасковьей Александровной, или за шутливой беседой с ее молодыми дочерьми. Там-то и застала его ужасная весть: в Петербурге был бунт. Войска восстали против нового царя, но были разбиты и бежали. Началась расправа. Виновных стали хватать и бросать в тюрьмы. И теперь в Петербурге нет ни одной семьи, где бы не оплакивали отца, сына, брата или мужа. Из друзей Пушкина пострадало так много, что он и счета им свести не мог. В крепость попали лицейские однокашники Пушкин, Кюхельбекер, Вальховский, кишиневские, каменские и тульчинские вольнодумцы Пестель, Давыдов, Якушкин, князь Барятинский, генерал-интендант Юшневский, полковник Повалло-Швейковский и многие другие, не считая майора Владимира Федосеевича Раевского, который был арестован еще в Кишиневе и пять лет томился в заключении. Особенно пострадало семейство генерала Раевского: у них взяли обоих сыновей — Александра и Николая и обоих зятьев — генерала Орлова и князя Волконского.

Пушкин понял, что и к нему в любую минуту может заглянуть жандарм. Поэтому он поспешил уничтожить бумаги, которые могли быть использованы против его друзей. Так погибли многие страницы дневников и записей. Жаль было уничтожать эпиграммы — их накопилось более пятидесяти! Все же, рассчитывая на глупость и недальновидность полиции, Пушкин кое-что оставил и из дневниковых записей и из сатирических стихотворений, не имеющих прямых указаний на высоких лиц. А в иносказаниях эти глупцы и подавно не разберутся!

Но к нему никто не являлся, к допросу его не звали, и ему стало казаться, что его просто забыли. Пушкин выждал месяц и написал Плетневу, своему издателю. Написал так, что если письмо и прочтут, то оно послужит ему только в оправдание.

«Что делается у вас в Петербурге? Я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен, но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость царскую».

Тогда же он написал Жуковскому, который имел при дворе большое влияние:

«Вероятно правительство удостоверилось, что я к заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политиче-

ских не имел, но оно объявило в журналах опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же кроме полиции и правительства не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко может уличить меня в политических разговорах с кем-нибудь из обвиненных. А между ними друзей моих довольно».

Ответ Жуковского погасил все надежды на близкую свободу: «Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством».

* * *

Работа над «Годуновым» и «Онегиным» продолжалась. Одновременно Пушкин писал множество других, более мелких произведений: элегий, поэм, драматических отрывков, посланий, эпиграмм.

Особенно удалась ему забавная поэма, первоначально названная им «Новый Тарквиний», а позже, по имени героя, «Граф Нулин».

Об этой поэме он счел нужным дать пояснения:

«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: — что если бы Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может это охладило бы его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция бы не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те... Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог противиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» написан 13 и 14 декабря... Бывают странные сближения».

В тот день, когда его друзья в Петербурге пытались изменить ход истории, он, Пушкин, в деревне ее пародировал!

А ведь могло быть иначе. Собирался же он 11 декабря уехать в столицу. Остановился бы у Рыльева и неизбежно попал бы на тайное собрание, которое устроили заговорщики в его квартире 13-го ночью. А на утро очутился бы со всеми на Сенатской площади. И кто знает, какая судьба постигла бы его.

...24 июля был жаркий тихий день. Пушкин велел оседлать коня и поехал в Тригорское. Остановился у крыльца. Его никто не встретил. Пушкин спешился, привязал коня к перилам веранды и вошел в дом. Там было тихо, точно в какой-то комнате лежал покойник. В гостиной сидела Машенька, младшая дочь Прасковьи Александровны, и держала куклу. Она вежливо присела гостю.

— Где маменька? — спросил Пушкин.

— У себя в опочивальне. Плачут.

— Случилось что?

— Не знаю-с! Извольте сами их спросить об этом.

Пушкин был в доме свой человек и прямо пошел к спальне хозяйки.

— Войдите! — раздался печальный голос в ответ на его стук.

Прасковья Александровна сидела в глубоком кресле, держала в руках какое-то письмо и молча рыдала.

— Ради бога, что случилось?

— Читайте! — и она протянула Пушкину листок.

Письмо было из Петербурга от ее старшего сына, дерптского студента Алексея Николаевича Вульфа. Пушкин быстро прочитал, побледнел, поцеловал безжизненную руку соседки, выбежал из комнаты, вскочил на коня и поскакал, не разбирая дороги.

Так он узнал, что 13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости были повешены пять участников декабрьского восстания: Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Петр Каховский и Михаил Бестужев-Рюмин. А 125 других заговорщиков отправлены в каторгу и ссылку или разжалованы в солдаты.

На следующий день после посещения Прасковьи Александровны Пушкин снова сел на коня и отправился в Тригорское. Ему необходимы были сильные физические движения. В минуты душевных бурь тело его не могло оставаться в покое. Но до усадьбы поэт не доехал. Хотелось быть одному. Он повернул коня и мелкой рысцой потрусил к большой дороге. Вскоре ему повстречалась щегольская коляска, запряженная парой холеных рысаков. Полный господин, сидевший развалиясь рядом с нарядной дамой, приветливо ему улыбнулся. Это был отставной генерал-майор Пушин, кишиневский знакомец и мастер масонской ложи «Овидий». После ареста майора Раевского Пушин получил вынужденную отставку, переехал в Одессу, там женил-

ся на свояченице графа Ланжерона, очень богатой вдове, и теперь проживал по соседству с Пушкиным в одном из своих псковских имений.

— Грустные, грустные вести, Александр Сергеевич! — начал он, согнав улыбку со своего лица.

Пушкину показалось, что отставной генерал заговорит сейчас о казни заговорщиков, о каторге и ссылке старых друзей, о горести их родных. Но Пушкин спокойным голосом продолжал:

— Грустные вести пришли из Одессы, очень грустные! Супруга почтенного Ивана Степановича Ризнича, которую вы изволили знать, болела чахоткой и уехала за границу. Там она и отдала богу душу. А ведь была совсем молода! Молода и красива. Злые языки говорят, что в ее несчастьи виноват граф Собанский. Поехал за нею следом, а господин Ризнич узнал и перестал деньги посылать. Собанский же ее скоро бросил, и умерла, сказывают, бедняжка в полной нищете. Да кто их знает, врут, поди, люди.

Пушкин слушал и к своему изумлению ни скорби, ни даже ревности не ощущал. Душа его была так полна горем, что больше уже не вмещала ничего. Известие о смерти женщины, которую он любил, ревновал, которая при жизни причиняла ему столько страданий, поэт принял с полным равнодушием. Через несколько дней он написал стихотворение:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла, наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем.
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Под этими стихами Пушкин сделал пометку: «Усл. о см. 25 и «У. О. с. Р. П. М. К. Б. 24», т. е. «Услышал о смерти Ризнич 25 июля и услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского и Бестужева 24-го».

Так Пушкин просил у дорогой ему покойницы прощения за то, что душа его, полная горем от вести о гибели пяти мучеников за свободу, не вместила больше ни скорби, ни сожалений, когда узнала о невозвратимой утрате.

Вскоре из столицы стали поступать более подробные сведения о следствии и суде над возмутителями 14 декабря. Государь учредил небывалый доселе в России Верховный Уголовный Суд. В нем заседали все члены Государственного Совета, Правительствующего Сената, Святейшего Синода и все полные генералы. Всего присутствовало 72 человека. Один не явился за смертью, а двое сказались больными. Это были новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов и финляндский военный генерал-губернатор Закревский.

Преступники были разбиты на одиннадцать разрядов, а пятеро поставлены «вне разряда».

И все же нашелся один честный человек, который имел мужество высказаться против смертной казни пятерым, осужденным вне разряда. Это был адмирал Николай Семенович Мордвинов.

«По древним российским узаконениям заслуживает смертную казнь, но сообразуясь с указом императрицы Елисаветы 1759 г. Апреля 29, 1754 годов Января 30, а также наказом Екатерины Великой и с указом императора Павла 1799 г. Апреля 26, — я полагаю: лишить чинов и дворянского достоинства, и, положив голову на плаху, сослать в каторжную работу», — писал Мордвинов против имени каждого из пяти осужденных.

Поступок адмирала Н. С. Мордвинова был тем более замечателен, что сам он был у нового царя под подозрением, так как было известно, что заговорщики, в случае победы восстания, намечали его в члены временного правительства. Известно было также, что Рылеев посвятил ему стихи под заглавием «Гражданское мужество».

Поведение старого министра в Верховном Суде привело Пушкина в восторг и вызвало поэтический отклик — стихотворное послание.

Но вот уж и следствие закончено, и приговор вынесен. Одни лишены жизни, другие томятся в каторге и тюрьмах, а к Пушкину никто не явился, никуда его не потребовали, ни о чем не допрашивали и к делу не привлекали. Но старая опала оставалась в силе, и Пушкин не знал, как же разрешится его судьба. Все же он надеялся на благоприятные перемены.

«Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? — писал он князю Вяземскому в Петербург. — Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры... то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? В нем дарование приметно — услышишь милая в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не возвратится — ай-да умница!»

Хозяйка Тригсрского, Прасковья Александровна Осипова, успокаивала Пушкина, старалась умерить его нетерпение, советовала спокойно ждать, уверяя, что конец его опалы близок.

Поэт ей раздраженно отвечал:

— Вопрос: невинен я или нет? Но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге. Вот каково быть верно-поданным! Забудут — и квит!

Но Пушкин ошибался. Его не забыли.

Царь Николай сам руководил следствием, сам зачастую допрашивал заговорщиков и слышал, что первые либеральные мысли они заимствовали «от чтения вольных стихов господина Пушкина».

Бестужев-Рюмин показывал, что «рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло». Когда Лореру предъявили обвинение в том, что он сжег недозволенные стихи Пушкина, тот возразил: «Я их не жег, ибо знал, что почти у каждого находятся и кто их не читал?» То же самое подтвердил и барон Штейнгель: «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал, не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой?»

Когда царь спросил Пушкина: «Не родственник ли ты Пушкину, известному сочинителю?», Пушкин ответил: «Великий национальный поэт Александр Пушкин только мой товарищ по лицу».

Николай понял, что такого поэта на Руси еще не было. Сила его влияния на умы, особенно на умы молодежи настолько велика, что оставить его дело в том положении, в котором оно находится, совершенно невозможно. Покойный государь сослал поэта сначала на юг, а потом в псковскую деревню. Но разве

это помешало Пушкину писать и даже печатать свои произведения? Напротив, в южном захолустье и в северной глуши поэт получил еще больше досуга для своих литературных занятий. Лишенный светских развлечений и рассеяния столицы, он еще с большей силой и страстью предался вдохновению. И кто знает, что вышло из-под его озлобленного и мстительного пера? Известно, что за эти годы Пушкин выпустил в свет множество произведений, которые создали ему непревзойденную славу. А сколько сочинил он еще стихов и прозы, которые, презрев печать и цензуру, распространяются в списках? Недалеко ходить, внимание полиции и жандармов привлекает отрывок из какого-то стихотворения, озаглавленного «На 14 декабря», и утверждают, что оно сочинено Пушкиным. Нет, уж если наказывать поэта, так прежде всего нужно было запретить ему писать! А теперь поздно! Пушкина надо или уничтожить, или заставить служить себе. Третьего не дано. Николай склонялся к первому решению, потому что успел бешено возненавидеть мятежного поэта. Ненависть эта еще подогревалась слухами, доносами и официальными докладами из Третьего отделения.

Считая, что Пушкин не менее опасен для самодержавия, чем казенные заговорщики, Николай в то же время понимал, что не может предать смерти знаменитого поэта без того, чтобы его дело не прошло законные стадии и формы.

Привлечь Пушкина к делу 14 декабря было поздно. К тому же требовались улики и доказательства участия поэта в заговоре.

Все же император сделал такую попытку. Он вызвал к себе Сперанского, который был более других сведущ в уголовных законах и правилах судопроизводства.

— Скажите, любезный Михаил Михайлович, в чем можно было бы обвинить известного поэта Пушкина, если бы он предстал перед Верховным Уголовным Судом?

Со свойственной ему обстоятельностью, а также со знанием всех особенностей дела о восстании, Сперанский ответил:

— По первому пункту обвинения, сиречь «за предерзостные слова, относящиеся к царубийству, произнесенные не на совещании тайных обществ, но в частном разговоре и означающие не умысел обдуманный, но мгновенную мысль и порыв», то господина Пушкина нельзя было бы признать виновным и надлежало бы оправдать, ибо против него был один только донос Висковатого агента тайной полиции, опровергнутый показания-

ми всех допрошенных по делу подсудимых. По второму же пункту, сиречь об участии в мятеже, то к господину Пушкину можно применить токмо участие в распространении возмутительных сочинений, подразумевая под оными стихи, известные по спискам, но не бывшие в печати. Можно бы с большою вероятностью поставить в вину господину Пушкину на основании пункта 6-го «полное знание об учреждении тайных обществ, хотя без всякого действия». Применив к господину Пушкину вышеозначенные пункты, можно было бы отнести его к одиннадцатому разряду, коему наказанием служит отдача в солдаты с выслугой.

Николай вежливо поблагодарил ученого сановника и отпустил его милостивым кивком головы. Вслед за Сперанским в кабинет государя вошел военный министр, генерал-адъютант Чернышев, который также был членом следственной комиссии по делу декабристов и поэтому знал все обстоятельства, определявшие вину каждого обвиняемого.

Государь коротко изложил Чернышеву соображения Сперанского о Пушкине и спросил:

— Разделяете ли вы, почтенный Александр Иванович, мнение графа Сперанского о господине Пушкине?

Генерал Чернышев смутился. Он не понимал, для чего государь спрашивает его о таком щекотливом предмете? Дело-то ведь было закончено. Верховный Уголовный Суд свои действия прекратил и был распущен. Виновные понесли определенное им наказание. А чтобы вдобавок к этому покарать поэта Пушкина за вольнодумство, так на то воля государя и он вправе распорядиться так, как его величеству будет благоугодно. Правда, не время теперь раздражать общество, и без того напуганное и взволнованное казнями, каторгой и тюрьмами, но перечить государю он не осмелился и поэтому осторожно произнес:

— Смеею сказать, ваше величество, что графу Сперанскому и книги в руки. Ученый юрист, дока в государственных делах и знаток всего дела о восстании противу существующего в России государственного строя. Только ведь господин Пушкин к следствию не привлекался. Да и самого Уголовного Суда в натуре больше нет. Не создавать же для одного господина Пушкина особое присутствие. Больно много чести. А сдать в солдаты можно и простым приказом, наипаче высочайшим.

От смущения генерал изъяснялся с непривычным для военного человека многословием. Николай недовольно поморщился.

— Я не об этом вас спрашиваю, почтенный Александр Иванович. Я хочу знать ваше мнение как военного министра, одобрили бы вы в отношении господина Пушкина такую меру, как отдача в солдаты с выслугой?

— Ради бога, не делайте этого, ваше величество! — испуганно воскликнул военный министр.

— Вы полагаете, что господин Пушкин заслуживает снисхождения или опасаетесь мнения общества, которое будет сочувствовать знаменитому поэту?

— Никак нет, ваше величество! Ежели господин Пушкин виновен, так пусть пропадает, туда ему и дорога, что бы ни говорили в обществе! Но если вы пошлете молодого вольнодумца в какой-нибудь полк на окраину, то есть близко к границе, так уж верно знаменитый поэт никакого наказания не получит. Офицеры будут его на руках носить, службы-то он и подавно никакой выполнять не будет. Среди солдат там много разжалованных, их он вконец развратит. Либеральная зараза еще коренится в армии, и надо ее пресекать, а не давать ей распространиться. Но главное, главное, ваше величество, в том, что Пушкин убежит за границу и, быть может, не один, а уж оттуда будет писать пасквилы на все русское правительство.

Николай не любил и не уважал Чернышева, но держал его при себе, потому что верил в его преданность, и к мнению его прислушивался.

— Может быть, вы и правы! — медленно произнес Николай. — Ну, хорошо, что вы имеете доложить?

Вечером царь спросил своего любимца Алексея Орлова:

— Что, по твоему мнению, нужно сделать с известным поэтом Пушкиным? Граф Сперанский говорит, что его можно отнести к одиннадцатому разряду и сдать в солдаты с выслугой.

— Я не судейский крючок, ваше величество. Позвольте мне говорить с прямою солдата. Я всей душой предан вашему величеству, и ваше благополучие для меня дороже жизни. Поэт Пушкин — слава нашей родины и, следовательно, он прославит ваше царствование, ибо оно будет богато великими делами. Кто богу не грешен, царю не виноват? Кто в молодости не предавался либеральным мечтаниям, когда сам покойный государь подавал в этом пример? Пушкин с политической стороны не лучше и не хуже других. По делу 14 декабря он чист, и на том спасибо. А голос его слышнее, потому что от природы ему дан великий дар, чарующее сладкогласие. Пушкин долго был в

опале почитай всю молодость провел в изгнании. Снимите с него эту опалу, государь, верните ему свободу, и поэт из одной благодарности воспоет вам хвалу.

Николай понимал, что, выступая так горячо в защиту Пушкина, Алексей Орлов тем самым смягчал вину своего брата, Михаила Федоровича, который тоже был виновен только в том, что вел противозаконные разговоры и знал о существовании тайных обществ. Все так, Орлов был к поэту Пушкину пристрастен. И все же в словах его чувствовалась и убежденность и правда. Граф Орлов был ему самым преданным и близким человеком. В день мятежа он первый двинул свой полк против вражеского каре на Сенатской площади. И если он поднял голос в пользу Пушкина, значит, все образованное общество мыслит с ним заодно. А время ли теперь ссориться с этим обществом? Кто знает, каких мстителей за смерть и каторгу мятежников сумеет выставить это общество? Велика власть русского самодержца, но и он смертен. И то сказать, много ли русских государей умерло своей смертью?

Николай был поколеблен в своем намерении уничтожить Пушкина. Но решения пока не принял, намереваясь еще узнать мнение Бенкендорфа. Каково же было удивление государя, когда шеф жандармов, которого уж никак нельзя было заподозрить в пристрастии к знаменитому русскому поэту или в снисходительности к государственным преступникам, целиком присоединился к мнению графа Орлова!

— Пушкин порядочный шалопай, ваше величество, но если удастся повернуть его перо, это будет только выгодно.

И Бенкендорф очень осторожно дал понять царю, что вовсе нет надобности, чтобы Пушкин в действительности изменил своим вольнолюбивым убеждениям. Достаточно, чтобы общество поверило, что поэт повернулся спиной к либералам и стал в ряды благонамеренных людей, как оно само охладает к своему любимцу. Люди легковжны, и слава легко сменяется позором. Чем создавать молодому поэту ореол мученичества, лучше опорочить его в глазах образованного общества. И уж, во всяком случае, не время теперь карать поэта, когда его произведения зачитываются все от мала до велика.

И хотя Николай уже был окончательно убежден в том, что Пушкина необходимо помиловать, он все же решил предпринять последнюю попытку, чтобы узнать о поведении Пушкина. Для этого он приказал произвести тайный розыск на месте.

В распоряжении графа Витта был подходящий секретный агент, дворянин Бошняк, небогатый помещик, любитель ботаники и литературы. Его-то и послали вместе с фельдъегерем в Псковскую губернию. Бude окажется, что Пушкин возмущает крестьян недовольными разговорами или каким-нибудь другим способом оказывает противодействие предначертаниям правительства, Бошняку предписывалось арестовать Пушкина и с фельдъегерем доставить его в распоряжение Фон-Фока.

Бошняк сначала посетил окрестных помещиков, соседей Пушкина. Все отозвались о молодом хозяине Михайловского с большой похвалой. Живет-де в родной деревне, как красная девица, ни во что не мешается, ни с кем предосудительных разговоров не ведет. Когда же Бошняк стал расспрашивать крестьян о Михайловском барине, тут его сомнения окончательно рассеялись. Поведение Пушкина с политической стороны не могло вызвать никакого упрека. Так он и доложил в Петербург, а фельдъегеря за ненадобностью отослал восвояси.

Тогда Николай, наконец, решился. Что ж, если нельзя применить силу, приходится действовать хитростью. Как раз к тому времени мать Пушкина, Надежда Осиповна, подала прошение царю о «даровании прощения ее сыну, страдавшему аневроизмом без всякой помощи, но ныне сознающему свои ошибки».

Двор был в Москве. Готовились коронационные торжества. Граф Бенкендорф доложил, что в списках распространяется возмутительное стихотворение под названием «На 14-ое декабря». Автором этих стихов называют Пушкина. Надо проверить. Для этого лучше всего самому допросить поэта. И царь продиктовал начальнику Главного Штаба генерал-адъютанту Дибичу такую резолюцию: «Высочайше повелено Пушкину приехать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину дозволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сем псковскому губернатору».

...Ранней осенью Пушкин сидел у себя в комнате и растапливал печку. Было холодно и сыро. Вдруг с криком вбежала испуганная няня, Арина Родионовна.

— Батюшка, Александр Сергеич, к нам фельдъегерь с тележкой. Вас спрашивает.

— Где же он?

— У парадного крыльца. Там девки его окружили. Испугались, режут.

— Задержи его как-нибудь!

— Как его удержишь?

— Пусть обойдет усадьбу да с черного хода и войдет.

Пушкин схватил пачку бумаг, какая попалась под руку, и бросил в огонь. Тут же спохватился, что бросил не то, что надо было. Махнул рукой: будь, что будет!

Через несколько минут в комнату вошел невысокий человек в шинели военного покроя и, улыбаясь, сказал:

— Здравствуйте, Александр Сергеевич! Разрешите представиться: капитан-исправник Соболев Михаил Николаевич. Прислан к вам по распоряжению его превосходительства псковского губернатора господина Адеркаса.

— Что же вам угодно?

— Вот записка губернатора. Я за вами. Собирайтесь ехать в Псков.

— Сейчас же и ехать?

— Без промедления.

— Вы меня арестовываете?

— Никак нет. Однако не скрою, что в Пскове вас ожидает фельдъегерь.

— А по чьему повелению приехал фельдъегерь?

— По высочайшему.

— Ехать мне в фельдъегерской тележке?

— Как вам будет угодно. Можете и в собственном экипаже.

— Какие вещи можно мне взять с собою?

— Какие вам будет угодно.

Пушкин велел закладывать свою дорожную коляску.

— А куда меня фельдъегерь повезет? В Петербург, должно быть?

— Никак нет, в Москву. А больше я вам ничего сообщить не могу, потому что и сам не знаю.

Арина Родионовна заливалась слезами, собирая чемодан своего любимца.

— Батюшка, Александр Сергеевич, увозят тебя от нас, куда неведомо, незнаемо.

Пушкин нежно поцеловал старушку.

— Не плачь, мама, царь куда ни пошлет, а все хлеба даст.

* * *

В Пскове перепрягли лошадей и тотчас же двинулись в путь. Пушкин ехал точно на поединок: нехотя, но подчиняясь необ-

ходимости. Как перед поединком, он не боялся конца и не думал о нем, не весь подобравшись, напрягши всю свою волю, он с ясным и холодным умом вдумывался в то, что с ним произошло. Он дремал в тряске возка, изредка пробуждаясь от толчков, но в душе его бодрствовало, ни на минуту не ослабевая, острое любопытство. Куда его везут? Зачем? Что его ждет?

К удивлению Пушкина, фельдъегерь Балш, латыш из Риги родом, оказался веселым спутником и любителем русской поэзии. Он знал и «Опасного соседа» дядюшки Василия Львовича, и «Елисея» Василия Майкова, и даже Баркова. С громким хохотом он читал стихи Державина:

Осел останется ослом,
Хоть ты осыпь его звездами.
Где нужно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

Его умиляли размышления Хераскова о смысле жизни:

Что такое есть родиться?
Что есть наше житие?
Шаг ступить и возвратиться
В прежнее небытие.

Дорожная коляска стала напоминать Пушкину ту тележку, в которой Андрей Шенье ехал со своим другом поэтом Руше к месту казни. Они тоже говорили о поэзии и читали вслух стихи.

Когда на второй день пути Пушкин и его спутник несколько освоились друг с другом, фельдъегерь Балш попросил Пушкина познакомить его с новыми, еще не напечатанными произведениями. Пушкин охотно согласился коротать время в литературных занятиях. И он сначала прочитал свою шутивную сказку о царе Никите и его сорока дочерях. Балш пришел в неистовый восторг. После этого Пушкин стал знакомить своего фельдъегеря со стихами Дельвига и Баратынского, Батюшкова и Жуковского, прочитал отрывки из своих южных поэм, сцену из «Фауста», отрывки из «Онегина» и, наконец, «Телегу жизни»:

Хоть тяжело подчас в ней бремя.
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
С утра садимся мы в телегу:
Мы рады голову сломать

И, презирая лень и негу,
Кричим: «пошел»
Но в полдень нет уж той отваги:
Порастрясло нас; нам страшной
И косогоры и овраги;
Кричим: «полегче, дуралей!»
Катит по-прежнему телега.
Под вечер мы привыкли к ней
И дремая едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

Фельдъегерь слушал с неослабным вниманием. Ему все яснее становилась разница между стихами Пушкина и других известных ему поэтов. К концу пути он уже смотрел на молодого человека, которого ему довелось сопровождать, как на высшее существо. Он давно слышал, что Пушкин славный сочинитель, но только теперь убедился в том, что таких стихов, какие пишет этот молодой опальный поэт, он никогда не читал. Сам того не подозревая, фельдъегерь Балш как будто весь преобразился. Конечно, он еще колотил ямщиков за недостаточно быструю езду, бил станционных смотрителей, когда они медлили с упряжкой или требовали прогоны по подорожной, но он все больше и больше сидел задумавшись и вздыхал. Поэзия оказалась огромной силой, власти которой над человеческими душами он даже не подозревал. Сопровождаемый им по высочайшему повелению не в виде арестанта поэт Пушкин оказался тем полубогом, в руках которого таилась эта непонятная власть. И, не скрывая больше своего восхищения, Балш стал оказывать Пушкину всевозможные услуги и знаки внимания.

Над землей стояла беловатая мгла, сквозь которую светилось множество огоньков. Это была Москва. Родная, любимая Москва. Коляска, в которой Пушкин ехал с фельдъегерем, свернула на Камер-коллежский вал, опоясывавший первопрестольную столицу сорокаверстным кольцом.

Пушкина поразило то, что, несмотря на ранний час, десятки карет и экипажей скакали по мостовым взад и вперед. Волна звуков, не умолкая, все усиливалась по мере приближения к городу. Москва, еще полная гостей, прибывших с двором на коронационные торжества, давала знать о себе в этом необычайном для нее движении, в этом шуме, похожем на громовые раскаты. Растревоженные стаи галок кружились над крестами сорока сороков московских церквей. Но вот уж Петровский замок, Ходынское поле, уже виднеются памятники и склепы Ва-

ганькова кладбища. Тройка несется и подпрыгивает на ухабах, а фельдъегерь еще подгоняет ямщика: «Пошел, скотина, пошел скорей, спишь, разиня!» И тяжелый кулак опускается на спину ямщика, как молот на наковальню. Ямщик молчит, размахивает кнутом и подгоняет заморенных, покрытых пеной лошадей. Вот уж поворотили к Патриаршим прудам, рванулись на Спиридоновку, поскакали через обе Никитские и, наконец, въехали в Троицкие ворота. Остановились у Кутафьей башни.

Фельдъегерь Балш провел Пушкина пешком через кремлевскую площадь мимо наполеоновских пушек и доставил в канцелярию дежурного генерала. Тот немедленно известил начальника Главного Штаба генерал-адъютанта Дибича о прибытии поэта. Дибич приказал привести Пушкина в Чудов дворец к четырем часам пополудни. Предстояла аудиенция, которой никто не ждал. Пушкину не дали возможности умыться, переодеться, даже очистить себя от дорожной пыли и грязи. Слегка дрожащий от холода и озноба, простудившийся в дороге, Пушкин вошел в кабинет царя.

Николай стоял в расшитом золотом генеральском мундире с нафабранными светлыми волосами, прикрывавшими раннюю плешь, с начищенными до блеска сапогами, картинно опершись рукою о письменный стол. Он впери в Пушкина свой испытующий взор. Это был один из тех оловянных взглядов, от которых женщины падали в обморок.

Ему ответил взгляд живых и умных глаз поэта, в которых светилось откровенное любопытство, но не было и тени страха или подбострастия. Как хорошо воспитанный молодой человек Пушкин держался просто, свободно, со спокойным достоинством.

Поэт был исполнен государственных мыслей, которые внушили ему изучение истории и последние события. И теперь, глядя на русского самодержца, он думал о том, что представляет собою народного избранника пред лицом навязанной этому народу власти. И даже грязь на его башмаках была родной землей, которой чужды были блестящие сапоги царя, отпрыска немецкой династии.

— Здравствуй, Пушкин! Доволен ли ты своим возвращением? — раздался приветливый голос царя.

Свершилось! Весы склонились в пользу милости. Николай понял, что ни испугать, ни принудить этого молодого человека нельзя было ничем. Лицо поэта, покрытое преждевременными

морщинами, обросшее темными бакенбардами, не дрогнуло, не изменилось в цвете, между тем как это неожиданное появление перед государем, эта аудиенция прямо с дорожной коляски хоть кого смутила бы и привела в трепет.

— Конечно, доволен и от души благодарю ваше величество! Ведь я шесть лет в опале, а мне и всего-то двадцать шесть лет.

— Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил партию, к которой ты принадлежал. Поверь мне, я так же люблю Россию, как и вы, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы и счастья, но ему надо сперва укрепиться.

— Как могу я вас ненавидеть, государь, когда я вижу вас первый раз в жизни? Верьте и мне, что я ни к какой партии не принадлежал, хотя среди мятежников было много моих друзей и товарищей.

— А что бы ты сделал, если бы 14 декабря был в Петербурге?

— Должно быть, был в рядах мятежников на Сенатской площади. Ведь там были мои друзья и братья. И я благодарю судьбу, ваше величество, за то, что она держала меня в те дни вдали от столицы.

— Ты говоришь, что в тебе нет ко мне ненависти. Так почему ж ты написал такие стихи?

Николай передал Пушкину несколько листов бумаги, на которых было переписано стихотворение с заголовком «На 14 декабря». Пушкин внимательно прочитал стихи, вернул листки государю и сказал:

— Это не моя рука, ваше величество, но стихи сии, действительно, сочинены мною. Они написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии «Андрей Шенье», напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений. Они явно относятся к французской революции, коей Шенье погиб жертвой. Все сии стихи без явной бессмыслицы не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное заглавие.

— Что же ты теперь пишешь?

— Разное, ваше величество. Роман в стихах, начатый еще в Кишиневе. Историческую трагедию о царе Борисе Годунове, шутиливую поэму о русском графе, элегии и мелкие стихотворения. Да вот беда: что ни напишу, все цензура задерживает и не пропускает.

— Почему ж ты пишешь такое, что цензура запрещает?

— Ах, ваше величество, цензура не позволяет и самых невинных вещей.

— Хорошо, присылай ко мне все, что ты напишешь. Я сам буду твоим цензором.

— Благодарю вас, ваше величество. Тогда вы сами убедитесь, что писатели притеснены цензурой.

— Знаешь ли ты, какая участь постигла мятежников?

— Знаю, ваше величество, я читал манифест.

— А тебя не удивило, что большинство бунтовщиков принадлежало к высшему офицерству?

— Мудреного мало, ваше величество, ведь офицеры наши в большинстве происходят из родовитого русского дворянства! А что такое наше старинное дворянство с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и на богатство, как не тьерз-эта (третье сословие)? Да такой страшной стихии мятежей нет во всей Европе!

Государь удивленно посмотрел на Пушкина. Такой смелой и сильной политической мысли ему еще никто не высказывал.

— Экой умница! — невольно должен был признать Николай. — Ну, а теперь скажи, переменился ли твой образ мыслей? И если ты получишь свободу, обещаешь ли думать и действовать иначе, чем прежде?

Пушкин задумался и молчал. Вдруг он увидел, что царь протягивает ему руку в знак прощения и этим закрепляет с ним добросердечный договор. Медлить было нельзя. Пушкин быстро подошел и пожал руку царя, украшенную одним только обручальным кольцом.

— Ну, теперь ты не прежний, ты мой Пушкин! — улыбаясь, сказал царь.

Аудиенция была окончена.

Пушкин вышел из Чудова дворца и облегченно вздохнул. Наконец-то он свободен! У Спасских ворот стояла его дорожная коляска. Она ждала решения судьбы поэта. Кто знает, куда бы она отвезла Пушкина, если бы аудиенция окончилась иначе.

Из караульной будки вышел фельдъегерь Балш.

— Поздравляю вас, Александр Сергеевич, с переменой судьбы. Очень рад был с вами познакомиться и еще более рад, что с вами прощаюсь. Желаю вам никогда со мною не встречаться! Ямщик, отвези барина, куда он укажет.

Пушкин поехал в гостиницу «Европа» на Тверской, оставил там вещи, отпустил ямщика и вышел на улицу.

Свободен! Свободен в России! Какое странное сочетание слов. Он свернул в Камергерский переулок и там увидел вывеску: «Императорское человеколюбивое общество». Поэт рассмеялся. Сочетание слов такое же странное, как «свободен в России».

Кривые улицы, тесные переулки, тупики, но все это московское, свое, родное, давно не виденное, но не забытое.

В Звонарном переулке были знаменитые Сандуновские бани, связанные с именем актера императорских театров. Пушкин туда и направился. Через час, освеженный, подстриженный и довольный, он пошел пешком разыскивать своего дядю, который жил на Старой Басманной улице в доме Кетчера, врача и переводчика Шекспира.

Уже темнело, но огней у Василия Львовича не зажигали. Пушкин дернул ручку дверного колокольчика. Ему открыл казачок.

— Барин дома?

— Дома-с. Как об вас доложить?

— Скажи, что племянник приехал из деревни.

Не успел казачок уйти, как в сени вошла со свечой в руках молодая женщина, одетая, как московские мещанки, с цветной шалью на плечах. Она стала всматриваться в гостя и вдруг воскликнула:

— Сашенька! То есть, простите, Александр Сергеевич!

— Аннушка!

— Она сгмая и есть!

— Неужто бы меня сразу не признали? Постарел? Подурнел?

— Где узнать? Сколько лет прошло. То были в Петербурге совсем мальчик, а нынче взрослый барин, хоть жениться в пору.

— Где дядюшка? Здоров?

— Готовились в гости ехать к господам Урусовым, да как услышали слово «племянник», так и переполошились. Какой, мол, племянник, ко мне никакой племянник приехать не может. Левушка в армии, Александр в псковской вотчине, а других племянников, мол, у меня нет. Сходи, говорит, посмотри, что за племянник.

— Ладно, я уж сам пойду и разъясню, кто такой приехал.

Пушкин своей легкою походкой пробежал пустую гостиную, миновал столовую и ворвался в спальню. Василий Львович был уже совсем одет к выходу, только вместо фрака на нем был пестрый халат. Напомаженные редкие волосы были уложены в модную прическу.

Небольшого роста, кособрохий, на тонких ножках, Василий Львович рядился по последнему слову моды, хотя ему уже было за пятьдесят. Увидев племянника и убедившись, что перед ним знаменитый михайловский изгнанник, он осторожно протянул ему свои объятия. Пушкин его по-родственному обнял и трижды поцеловал. Дядюшка на поцелуй едва ответил и тотчас же повернулся к зеркалу: не помял ли ему Александр в бурном порыве прически.

— Очень рад, мон шер, очень рад тебя видеть. Хотя и не ожидал, хоть и удивлен, но очень рад. Все ж таки объясни, как ты приехал в Москву. Ведь ты, как бы это сказать...

И, перейдя на французский язык, он заговорил доверительным шепотом:

— А, может быть, ты убежал тайком от начальства? Ты — дезертир? Может быть, за тобою гонится полиция? Говорили, что ты задумал побег в чужие края, так, может быть, ты, как бы это сказать...

И дядюшка стал, испуганно озираясь, ходить бочком вокруг Пушкина.

— Скажи правду, не томи. Ты не беглец? Не государственный преступник? Тебя не разыскивают?

Простоватый дядюшка сам напрашивался на то, чтобы над ним подшутить и напести ему каких-нибудь страшных небылиц. Но стоило только взглянуть на его растревоженное лицо, на его смешную, но жалкую фигуру, чтобы охота шутить отпала. Впрочем, Пушкин и сам был так взволнован событиями последних дней, что ему не терпелось самому рассказать дядюшке всю правду и этим утишить и свою и дядюшкину души.

— Успокойтесь, дорогой дядюшка, я не беглец, не преступник и не дезертир. Напротив, я русский литератор, удостоенный высокой царской милости.

Усадив Василия Львовича в удобное кресло, Пушкин сам уселся визави и обстоятельно со всеми мельчайшими подробностями рассказал о поездке с фельдъегерем, который знал «Опасного соседа», о неожиданной аудиенции, о милостях царя, который даровал ему прощение.

Весь ход рассказа отражался на доверчивом лице Василия Львовича. Испуг при упоминании о появлении капитан-исправника в Михайловском, тревога и любопытство во время дорожных воспоминаний, изумление при вести об аудиенции и беседе с царем и, наконец, изумление и живая радость при известии о прощении и свободе.

— И ты говорил с молодым монархом полтора часа? Невероятно! Даже посланники великих держав не имеют такой продолжительной аудиенции! И царь говорил с тобой о твоих стихах? Невозможно! Если я тебя правильно понял, царю докладывают с всех запрещенных и недопустимых к печати произведений?

Пушкин рассмеялся. Очевидно, дядюшка опасался, что новому государю доложили о непристойных приключениях Буянова в веселом доме.

В другое время он, не моргнув глазом, рассказал бы Василию Львовичу, что государь задал ему вопрос: кто сочинил опасную и вредную для нравов поэму, известную в обществе под названием «Опасный сосед», он, Александр Сергеевич, или какой-нибудь другой Пушкин? Но, взглянув на дядюшку, он стал опасаться, как бы старика не хватил от испуга апоплексический удар.

Без стука вошла Аннушка.

— Соловья баснями не кормят! — бесцеремонно прервала она родственную беседу. — Чай, наголодался-то с дороги Александр Сергеевич! К столу, к столу пожалуйте! Да и вам, Василий Львович, перекусить не грех. В гостях — не дома. Кто знает, в каком часу подадут ужин.

Пушкин тут только вспомнил, что с утра ничего не ел. Вскоре на красиво сервированном столе появились растегаи с паюсной икрой, раковый суп, майонез из осетрины, селянка по-московски, индейка с яблоками, воздушный пирог, фрукты, превосходные вина. Давно уж Пушкин не едал так вкусно и обильно. Дядюшка самодовольно улыбался, глядя, какой успех имеют произведения его крепостного повара Власия.

Аннушка ласково угощала Пушкина, произнося напевно, по-московски:

— Всем ли довольны, Александр Сергеевич? Я уж и помнить забыла, какие кушанья вы любите! Уж я бы Власию велела изготосвить, хоть бы из-под земли, а чтоб достал!

— Я больше всего люблю печеную картошку!

Раздался дверной звонок, в сенях послышался какой-то шум и небольшая возня, громкий смех, и в широко раскрытую дверь вошел высокий пластный молодой человек в модном мундирном фраке министерства иностранных дел.

— Не ожидали? А? Но какова осведомленность? Давно ли у вас Александр Сергеевич, а уж его друзья спешат здесь его застать и обнять!

И небрежно протянув руку Василию Львовичу, игриво подмигнув Аннушке, молодой человек подошел к Пушкину, стал в позу, отвесил церемонный поклон и нарочито громко сказал:

— Имею честь представиться: Сергей Александрович Соболевский, друг вашего брата Левушки и однокашник его по Благородному пансиону при Петербургском университете, а нынче числящийся по московскому архиву в чине десятого класса.

Пушкин тепло поздоровался с Соболевским и про себя подумал: «Какой приятный нахал!»

— А что поделявает Левушка? Я давно не имею от него писем.

Наш приятель Пушкин Лен
Не лишен рассудка,
Но с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам покажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка, —

ответил со смехом Соболевский.

— Не шалите, Серж, — сказал Василий Львович, — садитесь-ка лучше за стол, ешьте и расскажите, как вы узнали, что Александр вернулся из деревни.

Соболевский не заставил себя долго просить. Он расстелил салфетку на коленях и, вооружившись вилок, стал уничтожать произведения Блэза с таким жадным азартом, что Пушкин невольно подумал: «Экой обжора!»

— Как же вы узнали о приезде Александра? — нетерпеливо повторил свой вопрос Василий Львович.

— Мне сам царь сказал!

Как ни был доверчив Василий Львович, но он воспринял слова Соболевского как дурную шутку. А Пушкин даже нахмурился. Ему хотелось оборвать развязного малого словами

Чацкого: «Послушай, ври, да знай же меру!» Но, соблюдая приличие, он в свою очередь спросил:

— Нет, в самом деле, без шуток, кто вам мог сказать о моем приезде?

— Я и не шучу, и говорю правду. С небольшой поправкой. Сказал царь, конечно, не мне, но при мне. Разница не очень уж велика. Сегодня идет бал у французского посла, что живет наискосок вас в доме барона Вревского. Государь удостоил своим присутствием дипломатический раут. Среди гостей его величество заметил графа Дмитрия Николаевича Блудова, только что пожалованного в статс-секретари и назначенного товарищем министра народного просвещения. Государь ему милостиво улыбнулся, а граф подошел и стал благодарить за оказанную ему честь. Потом они о чем-то беседовали вполголоса по-французски, и вдруг царь сказал ему громко и по-русски:

— Кстати, знаешь ли ты, с кем я говорил сегодня? Ни за что не угадаешь! С одним из умнейших людей в России!

— Ума не приложу! С кем же это, ваше величество?

— С известным поэтом Пушкиным!

— Не могу вам описать, какое это произвело впечатление на всех присутствовавших. О вас только и говорили, а возможно, и сейчас говорят. Я дождался отъезда государя и, сообразив, что ежели вы в Москве, то уж, наверное, в эту пору сидите за ужином у почтеннейшего Василия Львовича, родственника по крови и по музам, убежал из дома посла и, как видите, я здесь! И расчеты мои оправдались самым наглядным образом!

Василий Львович сиял. Слова племянника подтвердились. Судьба его чудесным манером переменилась в счастливую сторону. Теперь уж без помех можно выехать в свет и там распространять приятную и лестную новость о царской милости, оказанной его беспутному, но очень одаренному племяннику.

Василий Львович не медля сбросил халат, облачился во фрак, попрыскался духами и усакал. Ему было с чем явиться в московское общество.

* * *

— У почтенного Василия Львовича губа-то не дура! — сказал Соболевский, провожая масляными глазами выходящую Аннушку. — И разведенная жена его, Капитолина Михайловна, была красавица, и эта, крепостная метресса, тоже недурна, в своем роде, конечно. А своих бастардов дядюшка ваш при се-

бе не держит, а подобно Жан Жаку Руссо отправляет в воспитательный дом!

Пушкин слушал и дивился. Все и всех знает ловкий молодой человек. А главное, с каким спокойным цинизмом говорит о бастардах, когда и сам бастард—внебрачный сын вдовы бригадира Анны Ивановны Лобковой и богатого помещика Соймонова. Как получил фамилию Соболевского, должно быть, он и сам не знал.

Соболевский был человек развязный, бесцеремонный, но умный и чуткий. В молчании Пушкина он почувствовал, что перешел какие-то границы деликатности и благовоспитанности и может потерять расположение человека, перед которым преклонялся и которого хотел бы иметь своим другом. Тотчас перейдя на серьезный тон, он стал рассказывать о московском обществе, которого Пушкин еще не знал. Очень уважительно Соболевский отозвался о своих сослуживцах по московскому архиву министерства иностранных дел. Молодые люди увлекались немецкой метафизической философией, называли себя любомудрами и мечтали о великом предназначении России. Некоторые из них писали стихи, другие — критические статьи, третьи — исторические драмы, но все дышали и жили интересами родной литературы. Пушкин для них был недостижимым кумиром.

— Если вы не возражаете, я познакомлю вас с наиболее выдающимися из любомудров, хотя все они «сок умной молодежи», как сказал Грибоедов. Это прежде всего братья Киреевские, братья Веневитиновы, Одоевский и Шевырев. А еще лучше будет, если вы переедете жить ко мне. Дядюшку вы будете стеснять, в гостинице не получите комфорта, а у меня и все удобства, и полный покой. Чувствовать себя будете как дома.

Соболевский оживился и стал опять шумлив.

— Едем, едем сейчас же ко мне! Моя коляска дожидается! А завтра я pošлю человека в «Европу» за вашими вещами.

Пушкин согласился, и они уехали.

— А что вы почувствовали, когда царь дал вам свободу? — спросил Соболевский в коляске.

— Я вздохнул о Михайловском. Мне, как и шильонскому узнику, стало жаль оставленных цепей.

* * *

Комнату Соболевский отвел Пушкину превосходную. Большой письменный стол, на котором лежали стопки нарезанной

бумаги, точно ожидал поэта. Большой кожаный диван мог служить и ложем и местом отдохновения. Камин и печка с пестрыми изразцами. Вольтеровское кресло, большая зеленая лампа, будильник, а на стенах ковер и картины. Тихо, покойно, уютно.

Утром Соболевский долго не будил своего гостя, а когда вошел к нему, то увидел, что Пушкин пишет в постели на подогнутых коленях.

— Простите, что беспокою.

— Нет, ничего, я уж кончаю и собирался встать.

— Завтракать в столовую пойдете или сюда вам прислать?

— А вы уж позавтракали?

— Нет, я вас ожидал.

— Тогда я скоро буду готов и пойду в столовую.

— Что привезли с собою в Москву из новых произведений?

— Многое, но прежде всего трагедию о царе Борисе Годунове.

— Думаете печатать или на театр ее отдадите?

— Я писал ее для театра, но не знаю, пропустит ли цензура. Хочу сначала прочитать ее образованным москвичам, чтобы узнать, как она звучит и какое производит впечатление.

— Чего лучше? У меня и прочитаете.

— Спешить не будем. Надо раньше осмотреться.

— Воля ваша, воля ваша.

— А вы сами что пишете?

— Только эпиграммы.

— Прочитайте!

— Хотите на наших горе-поэтов Хомякова, Хвостова и других?

— Пожалуйста!

— Идет обоз
С Парнаса,
Везет навоз
Пегаса.

— Остроумно и зло. А главное, коротко. Читайте еще.

— На Кетчера, в доме которого мы вчера встретились.

Кетчер врач, поэт, задира
И знаток шампанских вин.
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Видя, что Пушкину эпиграммы понравились, Соболевский разохотился и стал читать свои злые и острые стихи чуть ли не на всех знакомых, так или иначе проявивших себя либо в литературе, либо в музыке, либо в практической деятельности. Наконец запас его иссяк.

— Я вас, кажется, утомил. Вставайте-ка и пойдем позавтракать. Не нужно ли вам чего-нибудь?

— Да, нужно. Отправьтесь, пожалуйста, сегодня же к графу Федору Ивановичу Толстому и передайте ему мой вызов на поединок. Он проживает в своем доме по Староконюшенному переулку. Об условиях дуэли договоритесь с его секундантом. Дратесь как можно скорее.

* * *

Квартиру Соболевского на Собачьей площадке в доме Рыкевича знала почти вся Москва. Одни приходили сюда по делам, другие на роскошные обеды, которые любил устраивать Соболевский, третьи для дружеских бесед о литературе и философии, четвертые просто от нечего делать, пятые в надежде перехватить у богатого хозяина до лучших времен небольшую сумму, шестые перекинуться в карты...

Друзья шутя называли эту квартиру «съезжей», а самого Соболевского «частным приставом». Но Пушкина шум и суета, обычные в съезжей, не касались и не отвлекали от повседневных занятий. Соболевский позаботился о том, чтобы его знаменитый гость жил и трудился без помех.

Графа Толстого в Москве не оказалось, и Соболевский был рад тому, что опасное столкновение откладывается на неопределенный срок, а там авось удастся и совсем примирить противников. Но через несколько дней граф Федор Иванович вернулся из поездки в свою подмосковную деревню, и Соболевскому пришлось его навестить и передать вызов Пушкина.

Старый братер пришел в ужас. Не опасность дуэли пугала его, человека, известного своей отчаянной храбростью в боях с неприятелем и на многочисленных поединках.

Поднять руку на Пушкина! Этого он и вообразить себе не мог! Толстой был человек умный, очень образованный и горячо любивший Россию. Он и сам понимал цену творениям Пушкина, а теперь, кроме того, был свидетелем признания, которое нашел гений поэта во всех слоях общества, начиная от царя и кончая последним лавочником на гулянии под Новинским.

И этот человек, слава русского народа, звал Толстого к барьеру! Из-за чего? Из-за каких-то старых, глупых, давно забытых сплетен.

Между тем Толстой со времени последних встреч с Пушкиным постарел — ему было уже сорок пять лет — остепенился, стал богомолен и суеверен. Его мучили угрызения совести. От его руки на разных поединках пало одиннадцать человек. Толстой завел им синодик и молился за упокой их душ.

От брака с цыганкой Ольгой, славившейся чудесным голосом, он имел двенадцать детей. Одиннадцать из них умерли в раннем возрасте. Толстой внушил себе, что смертью детей бог наказывает его за одиннадцать убиенных на дуэлях. Поэтому со смертью каждого ребенка он вычеркивал из синодика одно имя и писал: «квит».

К тому времени, когда он получил вызов от Пушкина, у него оставалась в живых одна дочь Прасковья, которую Толстой очень любил и называл «мой курчавый цыганенок». И теперь для него убить Пушкина значило помимо всего другого обречь на смерть свое последнее любимое дитя.

— Что ж! — вздохнул Толстой. — Если Пушкин меня вызывает, надо драться. Мне честь дорога. Только скажите по совести: за что он меня вызывает?

Соболевский не ожидал таких слов и очень обрадовался обороту, который принимало это щекотливое и неприятное дело. Если граф Толстой, храбрец и брETER, принимает так неохотно вызов, значит, есть надежда на мирный исход.

— Вы сами должны знать, какое оскорбление нанесли знаменитому поэту. А мне Александр Сергеевич ничего не сообщил о мотивах вызова.

— Да я нашего соловья семь лет в глаза не видал, а до того были в Петербурге большими приятелями: и в карты играли, и на «чердаке» у Шаховского встречались. Мало ли что мы в ту пору друг про друга говорили и даже в стихах писали! Так кто ж его знал, что он такой злопамятный.

Соболевский пожал плечами и осторожно произнес:

— Вот видите, вы сами признаете, что говорили и даже писали вещи, обидные для чести Пушкина. Вы их забыли, но от этого оскорбление не стирается. Вам бы извиниться — и дело с концом.

— Не могу я извиняться под дулом пистолета. Не могу, чтобы меня на старости лет трусом ославили.

— Про этот вызов, кроме меня, никто еще не знает. Но дело не в этом. Главное, что вы сами признали свою вину перед Пушкиным.

— Батюшка, Сергей Александрович, мало ли кто чего наболтает да еще с пьяных глаз. Вы подумайте, сколько мне тогда лет было и сколько теперь. Можно ли считаться за каждое вздорное слово через семь лет?

— Так-то так, да Пушкин не забывает обид, и я уполномочен беречь его честь. Извинитесь, и вся недолга!

— Послушайте, Сергей Александрович, я и сам знаю, что, если извинюсь перед поэтом, никто не скажет, что Федор Толстой трусил и не вышел к барьеру. Не принято в нашем кругу такое перед поединком. Я сам себя уважать не буду. А с другой стороны, с кем дуэль? С Пушкиным? Ну как я в него стрелять буду? Мне все будет казаться, что я целюсь в мое родное дитя.

— Я очень рад, граф, что вы понимаете всю трудность положения. Но, прошу вас, поймите и вы меня, я должен заботиться о чести Пушкина.

— Не только о чести, но и о жизни.

— За его жизнь я спокоен. Ни у одного русского человека не поднимется рука на славу нашего народа.

— Вот как вы судите! Значит, мне идти на верную смерть! А у меня семейство! Да и грехи не отмолены. Легко ли умереть без покаяния?

— Что ж, подумаем оба, как бы закончить неприятное дело без ущерба для чести обеих сторон.

— Я только об этом и прошу. Дайте мне три дня отсрочки.

— Это я вам обещаю и раньше, как через три дня, ничего не сообщу Александру Сергеичу о нашем разговоре.

— Благодарю вас. Да благословит вас бог!

* * *

Тусклый ночник слабо освещал комнату, в которой спал Пушкин. Сон его был тревожен. Он устал от шума, от споров, от выпитого шампанского, от чрезмерно обильного ужина. Лунный луч то появлялся в дрожащей мгле, то исчезал. Вдруг Пушкин открыл глаза и прислушался. Ему почудилось, что кто-то открывает дверь.

— Кто там? — спросил он громко.

— Это я!

Пушкину показалось, что он грезит. Голос был знаком, но кому он принадлежал, Пушкин терялся в догадках. Вдруг лунный свет озарил комнату, и он ясно увидел, что у двери стоит, опершись на косяк, бледный, взволнованный граф Федор Иванович Толстой и простирает к нему умоляющие руки.

— Это я, Федор Толстой! Прости меня, Александр Сергеевич, прости меня, окаянного, ради Христа прости! Не могу я с тобой драться. Не замолить мне такого греха. И так на моей совести одиннадцать убиенных христианских душ. И тебе чести мало бить человека поверженного. А мне, что в тебя стрелять, что в мою дочку Прасковью, все едино. Разве можно семь лет в душе зло держать? Разве такие мы с тобою теперь, какие были семь лет тому назад? Не к лицу нам старые счеты. Прости меня, Александр Сергеевич, возьми вызов обратно, не клади страшного греха на мою душу!

— Иди с миром, Федор Иванович, спи спокойно! Бог простит!

— Спаси и награди тебя господь, Александр Сергеевич! Век не забуду твоей услуги.

Наутро Соболевский начал рассказывать Пушкину о результатах своего визита к Толстому. Пушкин его спокойно прервал:

— Благодарю вас за беспокойство, но больше ничего не надо. Дело это окончено. Мы помирились.

И, не дав изумленному Соболевскому никаких объяснений, прибавил:

— А теперь подумаем о чтении «Бориса Годунова».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«БОРИС ГОДУНОВ»

Силы мои развернулись, и я могу творить.

А. Пушкин



ЗАПИСКА о тайных обществах в России», поданная Бенкендорфом императору Александру Первому за несколько месяцев до восстания, сыграла немалую роль в его возвышении при новом государе.

Однако не Бенкендорф был автором этой «Записки». Он даже не знал толком ее содержания, а уж длинного списка лиц, приложенного к ней, и по-давно не помнил. Работу по составлению списка и самой «Записки» проделал Фон-Фок с помощью многих тайных агентов, которых этот давний начальник политической полиции умело набирал в разных слоях русского образованного общества.

Как и предполагал Фон-Фок, император Александр Павлович не придавал надлежащего значения ни «Записке», ни списку. И раньше до его сведения доходили известия, что в России существуют тайные общества, что цель их — ограничить самодержавие и освободить крестьян, но Александр не принимал никаких мер для пресечения деятельности заговорщиков. Он их просто боялся. Кроме того, покойный император признавал, что он сам со своими лицемерными либеральными речами был первым виновником распространения в России вольнодумных идей.

Неожиданная смерть Александра, воцарение Николая и мятеж на Сенатской площади придали всему делу новый оборот.

Бенкендорф как автор «Записки» выступил в роли государственного деятеля, который обнаружил глубокое знание тайных сил, враждебных власти, и предвидение событий, которых правительство не ожидало.

Поставленный во главе двух новых охранительных ведомств — Корпуса жандармов и Третьего отделения собственной его величества канцелярии — генерал Бенкендорф должен был много времени проводить при особе государя. Все же он принимал прямое участие в следствии над заговорщиками и во время допросов часто слышал имя Пушкина. Но ленивый и равнодушный к литературе, он никогда не читал произведений славного поэта. Еще раньше о Пушкине Бенкендорфу рассказывал граф Воронцов. Во время отечественной войны, когда Воронцов был начальником экспедиционного корпуса в Париже, а Бенкендорф в чине полковника командовал одним из кавалерийских полков, они познакомились и сблизились. Произведенный в генералы и назначенный командиром дивизии, расквартированной в Харькове, Бенкендорф иногда приезжал в Белую Церковь, поместье графов Браницких. Елизавета Ксаверьевна Воронцова, урожденная графиня Браницкая, хозяйка огромного поместья, любезно принимала Бенкендорфа, слывшего дамским угодником, который и ей оказывал знаки самого лестного внимания. От графини Бенкендорф часто слышал восторженные отзывы о поэзии Пушкина, но не придавал этому чрезмерного значения, потому что считал увлечение стихами просто проявлением доброты графининого сердца, а возможно, и дамской слабости. Сам же граф Воронцов, под начальством которого служил в Одессе опальный молодой человек, отзывался о нем как о шалопae, хотя и признавал за ним некоторые литературные способности.

После сдачи в солдаты поэта Полежаева Бенкендорф не сомневался, что шалопая Пушкина ожидает такая же участь. Поэтому, когда он увидел резолюцию государя, записанную генералом Дибичем, он вспомнил рассказы Воронцова и спросил генерала Потапова: «Какой это Пушкин? Тот, что живет в Пскове и наказан покойным государем за вольные стихи?»

Потапов улыбнулся, пожал плечами и ничего не ответил. Как объяснить этому невежественному немцу, что Пушкин великий русский поэт?

Вскоре настала для Бенкендорфа пора удивляться и недоумевать. Пушкина привезли в Москву, государь принял его в

тот же день, говорил с ним около двух часов самым милостивым образом, освободил от опалы, разрешил проживать в столицах и даже сам вызвался быть его цензором.

Через два дня после приема у французского посла Пушкин был в Большом театре на представлении комедии А. А. Шаловского «Аристофан». Только он вошел в зал со своим неизменным спутником С. А. Соболевским, как вся публика отвернулась от сцены и стала глядеть на него, на Пушкина. Поднялся страшный шум. «Пушкин в театре! Пушкин в театре! Покажите мне Пушкина! Где он?» — раздавалось со всех сторон. И знатные вельможи, и блистательные дамы, и члены дипломатического корпуса, как великой чести, искали знакомства с поэтом. Такая триумфальная встреча, устроенная московским образованным обществом Пушкину, явилась для Бенкендорфа полной неожиданностью. Говорят, что так в Москве встречали только генерала Ермолова, покорителя Кавказа.

Еще большей, еще удивительней была популярность Пушкина среди простого народа. За Пушкиным на гулянии под Новинским бегали толпы, чтобы только взглянуть на своего любимца. А через две недели после этого на Девичьем поле был устроен большой праздник с угощением. Версты на три расставили столы, покрытые скатертями. Заготовили пироги и сложили их саженьями, как дрова. Так как эти пироги были испечены за несколько недель до праздника, то поставили бочки вина, чтобы запить их. Полиция допускала к столам желающих отведать царское угощение небольшими группами, но все же не обошлось без давки и драк. Царь с царицей посетили это гулянье, и народ встречал их приветственными криками. Царская чета улыбалась и поклонами отвечала на приветствия. Когда же августейшая чета удалилась, среди гуляющих появился Пушкин. Только народ его увидел, поднялось нечто невообразимое. Поэту устроили такую овацию, что он еле живой ускользнул из рук своих поклонников и скрылся в доме князя Трубецкого, своего дальнего родственника, который проживал на Девичьем поле.

Фон-Фок предусмотрительно вскрывал все письма, которые шли к Пушкину. В одном из них он прочитал: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта. Извините, я забываюсь. Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса, но москвитяне не римляне и Кремль не Капитолий».

В честь Пушкина устраивались торжественные приемы в самых знатных московских домах: у князя Дмитрия Владимиро-

вича Голицына, московского военного генерал-губернатора, у княгини Зинаиды Александровны Волконской, у Марии Ивановны Римской-Корсаковой, у Веневитиновых, Урусовых и многих других.

Бенкендорф и Фон-Фок удивлялись, негодовали, но должны были признать, что обычные мерки, применявшиеся доселе к писателям и поэтам, даже самым крупным, к Пушкину не подходят: он их перерос. С этим можно было смириться как с необходимостью, если бы не их служебное положение, которое обязывало действовать. Тут-то и начинались сомнения. Что предпринять? Какой линии держаться? Что докладывать государю, а что до времени таить?

Фон-Фок, конечно, ни на минуту не выпускал Пушкина из своего поля зрения и знал о нем все, что только его агенты могли выведать. Так он знал, что поэт развлекается, посещает театры, пляшет на балах, волочится за красивыми женщинами, участвует в дружеских вечеринках, шутит и шалит, но в то же время по горло занят своими литературными делами, пишет и читает друзьям свои произведения, беседует с журналистами и учеными историками, возится с издателями и книгопродавцами.

Однако многочисленные агенты, соглядатаи и осведомители не сумели бы рассказать охранителю основ русского самодержавия, что триумфальные встречи и громкая хвала, которую Пушкин познал в Москве, вскружили ему голову. Напротив, он только глубже осознал, что принадлежит не себе, а России, родному народу, и это обязывало его смотреть на труд поэта, как на великий и благородный подвиг.

Фон-Фок был немец деловой и рассудительный. Где было ему понять все многообразие гениального русского поэта!

Сведения о Пушкине Фон-Фок хранил в особом отделении своего огромного шкафа и делился ими с Бенкендорфом по мере надобности. Особенно ценные и подробные сообщения он получал от полковника Ивана Петровича Бибикова, того самого, который написал донос на Полсжаева.

Составив различные донесения о жизни Пушкина в Москве, Фон-Фок познакомил Бенкендорфа с итогами своих наблюдений.

«Этот господин, — писал он в очередном докладе своему шефу, — проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как к добродетелям, наконец, деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские

наслаждения ценою самого священного. Это честолюбец, пожираемый жаждою вожделений, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае».

Фон-Фок писал, не замечая, что характеристика, данная им Пушкину, как нельзя более подходит к самому Бенкендорфу, эгоисту, презиравшему людей, и беспринципному карьеристу.

Фон-Фок рассчитывал, что Бенкендорф покажет это письмо государю и тот оценит высокие моральные требования, которые начальник политического сыска предъявляет к людям. Фон-Фок самодовольно рассчитывал поднять себя во мнении Николая и в то же время укрепить влияние Бенкендорфа, который, мол, держит при себе таких высоконравственных деятелей. Однако на очередном приеме у Бенкендорфа он увидел своего начальника, сидящего в раздумии над его столь тщательно составленным письмом.

— Не знаю, право, любезный Максим Яковлевич, что мне и делать с вашим донесением, — сказал Бенкендорф. — Не государю же его показывать?

— А исчему бы и нет? — осторожно спросил Фон-Фок.

— А потому, мой любезный Максим Яковлевич, что оно противоречит всему тому, чего желает его величество от Пушкина да и от других лиц, принадлежащих к высшему обществу.

— Простите, ваше превосходительство, но я просил бы вас выразиться яснее.

— Чего уж яснее? Пушкин не монах, а дворянин, светский молодой человек. А кто же из светских людей не ищет «житейских наслаждений», как вы их называете, кто не честолюбив, не эгоистичен? Это все не политические преступления. Его величество еще вчера сказал мне о господине Пушкине: «Оставьте его, пусть ищет любовных утех у девиц или девок, уж как хотите их назовите». Следственно, государь полагает, что «житейские наслаждения», которых вы не уважаете, будут отвлекать господина Пушкина от политики. Так что, как видите, от него требуется не добродетель анахорета, а усердие и преданность царю.

— Я этого не предвидел. Прошу прощения. Учту в дальнейшем.

— То-то и оно. А вы еще пишете, что его «необходимо будет проучить при первом удобном случае». В том-то и суть, что найти такой удобный случай очень мудрено.

— Почему же? Пушкин человек легкомысленный, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит его действиями.

— Может быть, может быть, и так, да при дворе есть человек, который печется о нем, как о лучшем друге.

— Кто же этот неизвестный нам покровитель?

— Очень даже известный всем, а вам-то уж подавно. Это друг Пушкина Василий Андреевич Жуковский, не только славный поэт, но и воспитатель наследника-цесаревича. Он внушает государю, что Пушкин величайший поэт России, гордость нашего народа и что он прославит нынешнее царствование, а юному наследнику твердит, что все подвиги античных героев остались бы неизвестны потомству, не будь Гомера, Вергилия или Овидия.

— Все так, но ведь господин Пушкин не Гомер, не Овидий и даже не Гёте.

* * *

Номер в гостинице «Европа» оставался за Пушкиным, но Соболевский как завез его к себе, так уж и не отпускал. Вместе они и в театры ходили, и к общим знакомым, вместе и в бане мылись, и гостей принимали.

Как-то за утранным столом Соболевский сказал Пушкину:

— Прошу тебя, Александр Сергеевич, не уходить сегодня вечером из дому. Будут гости.

— Кто да кто?

— Напросился один твой дальний родственник, Митенька, то есть Дмитрий Владимирович Веневитинов.

— А, зяю, знаю, мой молодой Аристарх.

— Как так?

— Очень прсто. Дмитрий Владимирович напечатал в «Сыне отечества» стзыв на первую главу «Онегина». Вступил в журнальную полемику с «Московским телеграфом» и не побоялся схватиться с самим Николаем Полевым. Хорошее начало для молодого критика!

— Неужели он тебя бранит? Смелый юноша! Насколько я помню, статья Полевого о тебе была просто восторженной.

— Как тебе сказать? Бранит-то он Полевого, но мимоходом и мне дсстается.

— Интересно прочитать, что он написал, потому что первые шаги на журнальном поприще обычно бывают робкие, а у Мн-

теньки поднялась рука не только на издателя большого журнала, но и на самого Пушкина.

— Конец статьи я помню. Очень цветисто выражается. «Роман г. Пушкина — это есть новый прелестный цветок на поле нашей словесности. В нем нет описания, в котором не видна была искусная кисть, управляемая живым резвым воображением; почти нет стиха, который бы не носил отпечатка или игривого остроумия или очаровательного таланта в красоте выражения».

— Ишь ты, куда метнул! То-то ему не терпится повидать самого автора хваленного романа и от него самого услышать благодарность за такие дифирамбы.

— Не по головке же мне его погладить!

— Почему бы и нет? Он того стоит! Митенька еще молод, ему всего двадцать один год, а уж как много сделал! И стихи пишет, и переводит из Гёте, и рисует изрядно, с чувством играет на рояле, да еще и философией занимается. Чего тебе еще?

— Не служит?

— Как и все, служит в архиве министерства иностранных дел.

— «Архивный юноша», значит.

— Не тебе смеяться. Сам-то ты разве не так начинал? Только он служит в Московском, а ты был в Петербургском архиве. Самое подходящее место для начинающего писателя. И Грибоедов, и Кюхельбекер, и многие другие там обретали и досуг, и вдохновение.

— А теперь кто там числится?

— Да вся наша образованная молодежь, большею частью по окончании университета. Их человек двенадцать-пятнадцать, но каждый в своем роде чем-нибудь замечателен.

— А все вместе?

— Ты угадал. Вместе они составляют общество любителей немецкой философии или «кружок любомудрия», как они сами себя называют.

— Все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями. Но мы... русские... Скажу, как Дельвиг: «Чем ближе к небу, тем холоднее». А об России они думают?

— Много думают и любят ее, но по-своему. Они готовы служить ей, однако не так, как их старшие товарищи на Сенатской площади, а скорее в министрах, губернаторах, дипломатах.

— И Митенька такой же?

— О нет, он не от мира сего. Думаю, что только молодость и случай спасли его от гибели. Он собой не дорожит и трудится не для карьеры. Впрочем, что загодя говорить! Сам его увидишь.

— А кроме Веневитинова, кого ты ждешь?

— Твоего старого друга, Петра Яковлевича Чаадаева.

— Разве он в Москве?

— Недавно возвратился из чужих краев, да, говорят, из ума шутит. Нигде не бывает, ни с кем не кланяется, сторонится людей; пройдет мимо знакомый, так он надвинет шляпу на лоб, чтобы не узнали.

— Кто ж тебе дал знать, что он приедет?

— Его домашний врач, профессор Альфонский. Только жажда увидеть тебя, старинного друга, которым он гордится, победила в нем отвращение к светскому обществу и визитам.

— Забавно! И это все?

— Жду, что приедет еще граф Виельгорский, обер-шеик или обер-гофмейстер, — не знаю точно его звания, — если его не задержат придворные обязанности. Он женат на герцогине Бирон, женщине гордой и надменной, сам же человек простой и добрый, хотя и знатен, и чиновен, и богат. У него две страсти: музыка и хороший стол. Вот я и тревожусь, сумею ли угодить такому гастроному.

— А ты и рад случаю послужить чревоугодию, Калибан, Фальстаф, толстый живот! Воображаю, какой лукуллов пир ты сегодня нам закатаешь!

— Угощать пищею духовною будешь ты, музыку привезет с собою граф Виельгорский, а ужин изготоят мои повара. Увы, кроме графа, никто из вас его не оценит. Митенька ест, как птичка, без всякого аппетита: поклует и сыт. А что клует, ему безразлично. Чаадаев всегда на какой-нибудь диете и не угадаешь, что ему требуется. А для Виельгорского велю приготовить судака по-польски, его национальное блюдо. Ну и подберу, конечно, хорошие вина.

Ровно в восемь часов вечера к дверям дома подъехала легкая коляска. Ливрейный лакей соскочил с козел, открыл дверцу и помог барину выйти. Опираясь на плечо слуги, господин вошел в сени и начал раздеваться. Это был Чаадаев.

Чаадаева Пушкин никогда не видел в штатском и теперь должен был признать, что его старый друг так же строен во фраке, как и в гвардейском мундире. Он был безукоризненно

одет, красив, изящен, но стал как-то медлителен в движениях. Пушкину хотелось было в первую минуту броситься к нему на шею, но покуда Чаадаев стягивал палец за пальцем модные перчатки, это желание пропало. Они дружески пожали друг другу руки, пошли в гостиную, уселись в кресла, оглядывая один другого: что осталось старого, а что прибавилось нового. Пушкин изменился очень сильно. От прежнего пылкового и шаловливого юноши остались только глаза и улыбка, черты лица сделались резче и строже. Чаадаев сохранился лучше, в его возрасте меняются мало, но над его прекрасным лбом уже почти не было волос. После долгой разлуки друзьям о многом хочется спросить и многое рассказать самому. Но начать трудно. Все же они молчали недолго. Чаадаев был красноречив, любил, чтобы его слушали и привык первый начинать всякую беседу.

— Мы с тобою не виделись больше семи лет, дорогой Александр Сергеевич. Уезжая из Петербурга на юг, ты даже не зашел проститься со мною.

— Нет, я заходил, но ты спал. Стоило ли будить тебя из-за такой безделицы?

— Кстати, я имел из-за тебя неприятности на границе. Таможенный досмотр обнаружил у меня твои стихи.

— Заветные?

— Ничего преступного в них не оказалось. Все же объяснения спросили. Я сослался на то, что стихи эти в списках давно гуляют по всей России и даже за рубежом. Потом, как ты знаешь, меня подозревали в принадлежности к заговору 14-го декабря. Это уж было совсем смешно. Меня, конечно, оправдали, но ведь мои убеждения они сами должны были знать. Мои взгляды знает вся образованная Европа. Могу ли я участвовать в революции, когда известно, что всякая революция отбрасывает народ на пятьдесят, а то и на сто лет назад?

Пушкин слушал, дивился и молчал. Спорить бесполезно: слишком уж далеко они ушли друг от друга. Минутами ему казалось, что Чаадаев тот же, что и был в царскосельские времена: мудрец, философ, ученый. Те же грустные глаза, те же добрые тонкие губы, которые улыбались мягко и чуть иронически. Но мысли и слова были теперь совсем другие.

— Как можно искать разума в толпе? — спрашивал Чаадаев, поглядывая на свои холеные руки. — Где видано, чтобы чернь была разумна? Когда истина является на земле, то возникает не из толпы, а из среды избранных.

— Кого называешь ты чернью и толпой? Уж не мучеников ли 14 декабря?

— Бог с ними! Не мне их судить! Однако они искали царства божия и правды его. Злая судьба их вызывает сочувствие, но она была предопределена свыше. Зачем мне думать о них? Я думаю о тебе, так много думаю, что измучился весь.

— Я тоже много думал о тебе, ждал встречи, как праздника...

— Неужто разочарован?

— Нет, но сомнения остались... Впрочем, тебе я их не ставлю в вину.

— Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, который должен был властвовать над умами, сам отдается привычкам и рутинным настроениям черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед.

— На это отвечу тебе шуткой, которую вызвал у меня спор Зенона с Диогеном.

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

Чаадаев, восхищенный, не находил слов для ответа. Остановив на Пушкине долгий и грустный взгляд, он произнес проникновенно:

— Я убежден, что ты можешь принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обмани своей судьбы, друг мой! Обратись с воплем к небу. Оно тебе ответит.

Приход Веневитинова прервал тягостную для Пушкина беседу. Он обнял юношу и спросил:

— А правда, что мы с вами родственники? И в какой степени? Я хоть и не Ходаковский, однако люблю толки о родне и о забытой старине.

— Правда, правда, как же. Мне матушка все подробно об-сказала. Ваша бабушка, Ольга Васильевна Чичерина, что была

замужем за вашим дедушкой Львом Александровичем Пушкиным, приходилась двоюродною сестрою моему деду, князю Николаю Алексеевичу Оболенскому. Его дочь, а моя мать, урожденная княжна Анна Николаевна Оболенская, таким образом, приходится троюродной сестрой вашему батюшке Сергею Львовичу. А мы с вами четвероюродные братья, то есть состоим в пятом колене.

— Ну, что ж, тогда по-родственному будем говорить друг другу «ты» без всякого брудершафта.

Доброе Митенькино лицо просияло. Он с обожанием смотрел на своего кумира. Но говорить Пушкину «ты» он никогда бы не решился. А Пушкин все расспрашивал его о любомудрах, о его произведениях: о стихах, переводах, критических статьях...

— Ты прочитаешь нам сегодня что-нибудь свое?

— Сергей Александрович говорил, что вы станете читать вашу трагедию о Самозванце и царе Борисе.

— Верно, буду читать, но всему свое время. Начни ты, пока гости еще не все собрались.

— Что ж, пожалуйста, я не против. И начну с посвящения вам:

Известно мне: доступен гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Вываю с жаром песнопений.
Рассей на миг восторг святой,
Раздумье творческого духа
И снисходительного слуха
Младую музу удостой.

В страстных стихах Веневитинов звал Пушкина воспеть Гёте.

И верь, он с радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой
И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Отвечно лебедь запоет
И к небу с песнею прощанья,
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

— Я чту великого старца, но не посвящал ему стихов. Зато я написал драматический отрывок. Он называется «Сцена из

Фауста». Послушайте и судите, насколько он близок к гетевскому.

И Пушкин стал читать наизусть свое новое произведение. Веневитинов был ошеломлен.

— Какое зрелое и возвышенное творение! Как коротко и просто! Вы превзошли Гёте! О, вы должны, вы непременно должны послать в Веймар эти стихи.

— Гёте не знает по-русски, он их не поймет.

— Об этом не тревожьтесь, ему их переведут.

Отворилась дверь и в комнату вошел граф Виельгорский. Он был в белых камергерских панталонах с золотым ключом и в бархатном, довольно поношенном сюртуке. Поздоровавшись со всеми общим поклоном, Виельгорский сел на диван.

— Простите, устал от придворных церемоний. Неужто я опоздал и чтение уже началось?

— Вы не опоздали, граф! — ускочил гостя Соболевский. — Чтение началось, да не то. «Годунов» еще впереди.

— А я ничего не хотел бы пропустить из произведений славного нашего поэта. И если вы никого больше не ждете, тогда попросим Александра Сергеевича не медлить и начать чтение трагедии. А я тем временем отдохну и потом кое-что вам сыграю.

— Трагедия моя увесистая, от нее вы только больше устанете! — улыбнулся Пушкин.

— Готов нести жертвы во славу русского искусства!

Пушкин принес рукопись и чтение началось. Все слушали с огромным вниманием. Было очевидно, что историческая трагедия Пушкина — явление совершенно новое и замечательное не только на театре, но и в литературе. Однако при первом ознакомлении с ней очень трудно было разобраться в ее психических прелестях, между тем никаких сомнений не было в том, что пьеса вносит в русскую литературу нечто особенное, небывалое, своеобразное и прекрасное.

Окончив чтение, Пушкин с интересом ждал, что скажет Веневитинов. Юноша проявил такой верный взгляд на искусство, такой хороший литературный вкус, что его оценка «Годунова» должна была еще больше сблизить его с Пушкиным. Но Веневитинов молчал, глубоко задумавшись, а заговорил Чаадаев.

— «Народ безмолвствует», — повторил он заключительные слова трагедии. — Как это верно и как хорошо! Народ и должен безмолвствовать. Действовать надлежит героям, то есть людям избранным!

— Если ставить вашу трагедию на сцене, то как же разделить ее на акты? — спросил Виельгорский. — Обычно пьесы делятся на действия или акты, между которыми делаются паузы, антракты для отдыха публики и артистов, а также для перемен декораций и обстановки. Так поступали драматурги всех стран и всех эпох: Кальдерон и Лопе де Вега, Шекспир и Бен Джонсон, Мольер и Расин, даже Софокл и Аристофан. Вы нарушили театральный обычай, существующий с античных времен.

— В этом я предоставляю театру полную свободу. Шекспир делил свои пьесы на действия, это правда, но не требовал того же от театра. И постановщик по желанию одни куски выбрасывал, другие переставлял. Я же расположил свои двадцать пять драматических сцен по системе отца нашего Шекспира, они сцеплены между собою внутренней связью. А уж это дело театра показать трагедию так, как он сочтет за лучшее.

— Сумеет ли театр достичь при постановке исторической истины? — спросил Веневитинов. — Боюсь, что публике ваша пьеса покажется неправдоподобной.

— Беда небольшая! — ответил Пушкин. — Из всех видов литературных произведений драматические суть самые неправдоподобные. В драме требуется правдоподобие чувствований, истина страстей.

— Очень прошу вас, Александр Сергеевич, прочитайте еще раз у меня вашу замечательную трагедию! — произнес умоляющим голосом Веневитинов. — Я приглашу всех моих товарищей по архиву и еще некоторых образованных молодых людей. Они сумеют по достоинству оценить ваш труд.

— Что ж, пожалуй. О дне чтения мы еще поговорим.

Виельгорский поднялся с дивана. Теперь он был похож на деревенского паренька, хотя годами был старше всех. Белый, румяный, он молодцевато тряхнул светлыми кудрями и совсем стал пригож лицом. Сел за фортепьяно и провозгласил:

— «Черная шаль» — слова Пушкина, музыка собственного сочинения.

И запел приятным мягким баритоном. Пушкин, Веневитинов и Соболевский ему неистово аплодировали. Чаадаев благожелательно и грустно улыбался. Виельгорский много еще играл и пел, но, наконец, поднялся и обратился к Соболевскому:

— Дорогой хозяин, я потрудился и у вас и на царской службе. Пора и подкрепиться. Работника не кормить, так он

и дела не сделает. Уже, как говорится, час адмиральский. Надеюсь, ваши гости меня поддержат.

Соболевский засуетился.

— Прошу, прошу к столу. Давно готово.

Чаадаев от ужина отказался и уехал. Прощаясь, он сказал графу Виельгорскому:

— Может быть, преувеличением было опечалиться на минуту о судьбе народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина.

Виельгорский не понял, по какому поводу говорят эти торжественные слова, но ответил тоном безукоризненно воспитанного человека:

— Конечно, конечно, вы совершенно правы.

Ужин был продолжительный, обильный и веселый. Однако он не обошелся без огорчения для хозяина.

Соболевский усердно потчевал графа Виельгорского, хотя тот и сам отдавал честь всем блюдам и винам. Только судака попольски он слегка понюхал и отодвинул в сторону. Наливая Виельгорскому бокал вина кометы, Соболевский хвастливо заметил:

— Обратите внимание на это вино, граф, оно тысяча одиннадцатого года.

— Не знаю, какого года ваше вино, но ваше масло, наверное, восемьсот одиннадцатого года.

Находчивый Соболевский на этот раз так растерялся, что молча отошел и сел на свое место. И только позже велел убрать со стола злосчастного судака.

* * *

Вернувшийся в Москву после семилетнего отсутствия Пушкин должен был заново знакомиться с московскими друзьями и приятелями.

Одних он и вовсе никогда не видел: знакомство состоялось путем писем. Других знал подростками или юношами, теперь же они выросли или повзрослели, стали мужчинами, а то и мужьями.

С поэтом Баратынским Пушкин состоял в долгой и дружеской переписке, любил его стихи, но никогда самого не видел. В судьбе их было много общего. Оба воспитывались в приви-

легированных учебных заведениях: Пушкин — в Царскосельском лицее, Баратынский — в Пажеском корпусе. Оба в ранней юности попали под гнев императора Александра Павловича и были оторваны от семьи и близких, оба рано обнаружили поэтическое дарование, оба страдали от бедности, хотя имели богатых родителей. Оба прекрасно владели французским языком, за что Пушкина в лицее прозвали «французом», а Баратынского в Пажеском корпусе — «маркизом».

Баратынский был исключен из Пажеского корпуса по высочайшему повелению за «нехорошую проказу». Ему было запрещено учиться в казенных учебных заведениях, ему нельзя было поступить никуда на службу, разве бы захотел в военную рядовым. Проказа была недостойна юноши из хорошего общества, но родные не осудили мальчика. Так как Баратынскому и двум его товарищам и по пятнадцати лет не было, когда они совершили недостойный поступок, то мать Баратынского окружила «Бубеньку», как она его называла, чрезмерной заботой, чтобы как-нибудь смягчить жестокость и несправедливость наказания. И Баратынский искренно считал себя жертвой суровых обстоятельств. Однако, прожив несколько лет в деревне с матерью и не видя впереди никаких перспектив, Баратынский решился на солдатчину. Нелегко доставалась ему жизнь. Долгие годы подчиненного положения в нижних чинах. Потом полугодное существование в Петербурге. Там он сблизился с братом Львом и с лицейским другом Дельвигом. Об этой поре они поведали в стихах:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом,
Тихо жили они, за квартиру платили немного,
В лавочку были должны, дома обедали редко;
Часто, когда покрывалось небо осенню тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах
трикотевых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя: «Какое в россиянах чувство!»

После производства в первый офицерский чин Баратынский вышел в отставку, пожил в материнском имении, подготовил к печати сборник стихов, написал новую поэму и женился. Стал теперь богат и зажил московским барином.

Дверь открыла спрятная горничная в белом переднике и напелке. Только Пушкин назвал свою фамилию, как в сенях появился Баратынский, а за ним его жена.

— Знакомься, мою хозяйку зовут Анастасья Львовна. А это знаменитый Пушкин, в одном лице Расин и Гёте и Шекспир.

— Я очень рада. Милости просим.

Пушкин почувствовал крепкое пожатие маленькой, теплой, но сильной руки. На него не мигая смотрели большие темные глаза. Лицо молодой женщины, продолговатое и худое, было окружено вьющимися локонами светлых волос, зачесанных по моде.

— А теперь давай и мы познакомимся! — сказал Баратынский.

Они взялись за руки и постояли несколько минут, всматриваясь друг в друга. Баратынскому сразу бросилось в глаза, что Пушкин очень похож на своего брата Льва. Он не удержался и высказал это.

— Нет, Евгений Абрамович, это Левушка на меня похож, а не я на него, потому что я старше! — сказал Пушкин серьезно.

Баратынский рассмеялся, полуобнял гостя и повел его в столовую. Там всё убранство было новое, блестело чистотой, потому что Баратынские были женаты меньше трех месяцев. Кипел небольшой серебряный самовар, под нарядным петушком настаивался чайник, на белоснежной скатерти были расставлены фарфоровые чашки и блюдечки. На вилках, ножах и ложках вытеснены затейливые монограммы. Вокруг стола расставлены дубовые стулья с высокими спинками. Все мебели были добротные, дорогие, удобные. И все же уюта в комнате не чувствовалось. Она выглядела еще необжитой.

Протягивая гостю чашку чаю, Анастасья Львовна спросила:

— Надолго ли в Москву, Александр Сергеевич? Вы, кажется, петербуржец?

— Нет, я коренной москвич. Родился в Немецкой слободе, здесь и детство провел. И подмосковная у нас была, сельцо Захарово.

— А нынче где собираетесь поселиться на постоянное жительство?

— Право, не знаю сам. Государь в личной беседе объявил мне, что я свободен от опалы, но, признаюсь, все же не всегда могу различить, что же мне запрещено и что дозволено. По всякому случаю, касается ли дело печатания моих сочинений или перемены места жительства, я должен обращаться за разрешением к высшему начальству.

— А как вам в этот приезд понравилась Москва?

— Москва шумна и до такой степени отдалась празднествам, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому.

— Сказывают, что вы привезли с собою множество превосходных вещей — главы из романа в стихах, шутивную поэму о каком-то графе, мелкие стихотворения, а главное, трагедию о царе Борисе в новом духе. Не обрадуете ли нас, не прочитаете ли хоть что-нибудь? Бубенька ведь тоже написал много нового: поэму «Бал», романс «Не искушай меня без нужды» и разные мелкие лирические стихотворения. А скоро выйдет из печати и сборник его стихов. Ах, я так боюсь журнальной критики! Вдруг да осудят и разбранят?

— Волков бояться — в лес не ходить, сударыня. Без журнальной брани еще ни один поэт у нас в люди не вышел. Но не тревожьтесь. Вашему супругу брань не страшна. Ему уготовано почетное место среди русских поэтов.

— Я так и знала, что вы будете утешать нас. «Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует».

— Вы и это знаете, сударыня?

— Как же, ведь я жена поэта.

— Тем лучше.

— Если не хотите больше чаю, перейдем в Бубенькину комнату, там никто не помешает нам заниматься поэзией.

— Как прикажете!

В кабинете Баратынского, таком же новом и свежем, как столовая, Пушкин прочитал «Графа Нулина». Анастасья Львовна хохотала, ничуть не смущаясь вольными шутками поэмы. В свою очередь Баратынский прочитал отрывки из поэмы «Бал» и несколько мелких стихотворений. Видно было, что Баратынский приучил свою жену к эротическому жанру. При ней можно было читать, не выпуская самые рискованные стихи. Дошла, наконец, очередь и до «Годунова».

— Предупреждаю, что пьеса моя объемистая и может вас утомить. Мы и так много времени уделили музам. В Михайловском я читал свою трагедию Алексею Николаевичу Вульф, владельцу Тригорского. При конце чтения на него было тяжело смотреть, и я в очередной песне «Онегина» сам себе попенял за то, что «ко мне забредшего соседа душу трагедией в углу». Вы же, исполняя долг гостеприимства, и виду не покажете, что замучились.

— Что вы, что вы, Александр Сергеевич, — искренно и горячо воскликнула хозяйка, — произведение Пушкина утомить не может. Читайте хоть до петухов!

— Ну что ж, пеняйте на себя. А я потом скажу: «Ты этого хотел, Жорж Данден!»

— Начинайте, не томите!

— И в самом деле, Александр Сергеевич, познакомь нас с твоей трагедией. Люди ее слышали, о ней только и разговору, а мы ничего не знаем.

Пушкин достал рукопись и не спеша стал читать. Баратынский и его жена слушали с неослабным вниманием до самого конца, не проронив ни одного слова.

— «Борис Годунов» — чудо! — воскликнул Баратынский, когда чтение окончилось. — Наша сцена еще не знала ничего подобного. Оценит ли она такой шедевр? По силам ли ей будет исполнение? И кто сумеет сыграть Самозванца, Марину Мнишек, наконец, самого героя трагедии, царя Бориса?

— И так верно, точно про наши дни! — подхватила Анастасья Львовна:

Мы дома, как Литвой,
Осаждены невраждными рабами;
Все языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воров.
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.

— Взять хотя бы недавний случай с капитаном Митьковым. Его же дворовые написали на него донос, что барин-де смущает их чтением какой-то кощунственной поэмы. «Гаврилиада» — так, кажется, она называется. Я сама ее не читала. Слышала только, что списки по рукам ходят. Митькова, конечно, взяли и посадили, куда следует. А теперь ищут, кто автор. Правды никто порядком не знает, а молва приписывает поэмку то дядюшке вашему, Василию Львовичу, то вам, то Бубеньке, то князю Вяземскому, то еще кому-то.

Пушкин вздрогнул. Если так будут болтать, то полиции и в самом деле не трудно будет доискаться до истинного автора. Хорошо еще, что Баратынский не знает правды. А то бы язычок его жены много беды мог бы наделать. Пушкин сложил рукопись и поднялся.

— Пора и честь знать. Разрешите откланяться.

Баратынский подошел и поцеловал Пушкина.

— Спасибо, от всей души спасибо! Утешил! Давно уж я такого удовольствия не испытывал.

— Что ж, не смеем задерживать! — сказала Анастасья Львовна, когда Пушкин наклонился к ее руке. — Только неужели Пушкин не оставит поэтического следа в альбоме своего друга?

— С удовольствием. Жаль только, что стихи не новые.

В руках Анастасии Львовны был нарядный альбом в сафьяновом переплете с золотыми застешками. Пушкин написал:

Баратынскому.

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухончка, ей-ей,
Гречанск Байрона милей,
А твой зонт прямой чухонец.

Анастасья Львовна прочтала, взглянула на Пушкина блестящими благодарными глазами и передала альбом мужу. Его прощальное рукопожатие было сильным и горячим.

От Баратынских Пушкин направился в гостиницу, но брел ленивым шагом, медленно, точно желая оттянуть свой приход туда. А когда вошел в грязноватый номер и ему бросилась в глаза неубранная комната, ее холостая запущенность, невольно сравнил свое жилье с только что покинутой нарядной квартиркой и с невольной завистью подумал: «Так ли живут женатые люди!»

* * *

В доме Веневитиновых, что стоял на углу Мясницкой в Кривоколенном переулке, против храма преподобного Евпла, с утра началась хозяйственная суетня. Ждали гостей и Пушкина, который обещался читать свою новую трагедию «Борис Годунов».

Старший сын Веневитиновых, Митенька, худой и слабый, запахивая руками халат на узкой груди, подгонял слуг, которые убирали залу, гостиную и столовую. Сам он сбежал на кухню, убедился, что мать заботится о завтраке, и вернулся в залу. Поставил посредине маленький столик, придвинул к нему кресло, на всякий случай перенес на столик два канделябра и старые свечи заменил новыми: октябрьский день был хмурый. Огляделся кругом, достал стакан с блюдечком, налил в него свежей

воды, бросил два куска сахара и размешал ложечкой; потом пошел одеваться.

Началось томительное ожидание. Первыми к десяти часам, как условлено, пришли братья Хомяковы, Алексей и Федор Степановичи. Алексей тоже написал стихами трагедию на историческую тему «Ермак», но ему предстояло читать свое произведение на следующий день после Пушкина. Он был взволнован, смущен, нервно потирал руки, садился то на один стул, то на другой. Казалось, что именно он виновник сегодняшнего торжественного собрания. Брат Федор разделял его волнение, то краснел, то бледнел и тревожно поглядывал по сторонам.

Но вот появились и другие братья: Киреевские, Иван и Петр Васильевичи. Занятия философией, особенно немецкой, приучили их относиться ко всему с мудрым спокойствием. Поэтому и теперь, сидя в чужой зале и ожидая появления Пушкина, они говорили между собою вполголоса о том, что России предназначено высокое место среди народов мира. Ибо недаром появляются у нас замечательные люди во всех областях искусства и знания.

Старинные куранты отзвонили одиннадцать, а Пушкина все не было. Зала понемногу наполнялась народом. Вошел, по-медвежьей ступая, Михаил Петрович Погодин. Лицо у него было некрасивое, манеры грубые, но это был очень умный человек и настоящий ученый. Он читал в Московском университете курс русской истории и сам работал над исторической трагедией о Марфе-Посаднице, хотя литературного таланта у него не было. Перед Пушкиным он благоговел. И ожидал чтения, как некоего великого таинства. Рядом с ним уселся молодой критик и поэт Степан Петрович Шевырев. Он собирался ехать в Италию, чтобы изучать искусство, и тоже мечтал об ученой карьере.

Шумной толпою вошли «архивные юноши» Мельгунов, Рожалин, Мальцев и с ними Соболевский.

Многие из собравшихся никогда не видели Пушкина и представляли его себе величественным и могучим. Но вдруг в залу вошел быстрыми шагами молодой человек небольшого роста в длинном сюртуке с жилетом, застегнутым на все пуговицы, и с белым шелковым галстуком. Над прекрасным высоким лбом чуть курчавились темные волосы. Большие живые глаза, казалось, сразу охватили всю комнату со всеми в ней собравшимися. Правая рука поэта лежала на его груди, а левая за спиною

держала небольшой сверток. Он подошел к столику, развернул рукопись и, обратившись к собранию, сказал:

— Здравствуйте, господа! Не будем терять времени и начнем.

Не успели молодые люди опомниться и отдать себе отчет в том, что перед ними знаменитый и долгожданный Пушкин, как они услышали чуть глуховатый, но звучный голос: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве — летопись о многих мятежах и пр. Писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 в городище Ворониче».

— Почему «комедия»? — спросил шепотом Федор Хомяков брата Алексея. — Говорили, что «Годунов» — трагедия в стихах, как твой «Ермак».

Ему ответил всезнающий Владимир Павлович Титов.

— В прежние времена всякое театральное представление именовалось «комедией» независимо от содержания и от конца — грустного или веселого. Пушкин соблюдает колорит эпохи.

Зазвучали первые строки трагедии:

Наряжены мы вместе город ведать,
Но, кажется, нам не за кем смотреть:
Москва пуста.

И снова послышался недоумевающий шепот Федора Хомякова:

— Не понимаю, что это, проза или стихи.

На этот раз ему ответил Шевырев:

— Это белый стих, пятистопный ямб без рифмы с цезурой на второй стопе. Его у нас называют «александрийским».

На них зашикали, и чтение больше не прерывалось.

Первые сцены: в Кремлевских палатах, на Красной площади и снова в Кремлевских палатах — были выслушаны спокойно, тихо и даже с каким-то недоумением. Простой, ясный, но поэтически увлекательный и близкий к эпохе язык трагедии Пушкина воспринимался слушателями, как нечто чуждое и странное. Слишком уж он был не похож на ходульную напыщенную речь, которую они обычно слышали на русской классической сцене. Старая привычка мешала им восхищаться красотами нового произведения. Но вот сцена закончилась словами: «Лукавый царедворец!» — и все переглянулись между собою. Это выражение было не только художественной правдой в трагедии о

старинных смутных временах, но оно было близко современности. Сколько их, этих «лукавых царедворцев», окружало трон молодого монарха!

Пушкин сделал маленькую паузу, отпил глоток сахарной воды и произнес:

— Ночь. Келья в Чудовом монастыре.

Эта сцена всех просто ошеломила. Казалось, что слышится живой голос древнего летописателя. Когда же Пушкин дошел до рассказа о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным и о молитве иноков: «Да ниспошлет господь любовь и мир его душе страдающей и бурной», все были потрясены. Поэт победил. Покоренные красотой произведения зрелого и возвышенного, слушатели уже воспринимали чтение с неведомым до толе наслаждением. Особенный восторг вызвали слова Самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.

Историческая истина обращалась в произведение высокого искусства. Тайна этого преобразования не была известна даже самому гениальному творцу трагедии.

Давно умолк голос Пушкина, а его слушатели еще долго молча смотрели друг на друга. Потом, точно сговорившись, бросились к поэту. Начались объятия, поднялся беспорядочный шум, раздался смех, а у иных лились слезы. Молодой хозяин воспользовался замешательством и пригласил всех в столовую, где их ждал завтрак. Подали шампанское, и все еще больше воодушевились. Пушкин радовался, видя, какое действие произвела его трагедия на избранную московскую молодежь.

Когда вернулись в залу, Пушкин прочитал пролог к «Руслану и Людмиле», тогда еще неизвестный, и стал рассказывать о своих новых планах. Ему хотелось написать еще несколько трагедий из смутного времени: о Ажедмитрии и Марине, о Василии Шуйском, кроме того, о Моцарте и Сальери и о многом, многом другом. Ему уже виделась сцена с палачом, который шутит с чернью на Красной площади в ожидании Шуйского.

— Впрочем, — прибавил он со смехом, — я могу сказать, как Вольтер: «Если я напишу еще трагедию, то куда мне бежать?»

Пушкин побыл еще немного и ушел, сопровождаемый восторженными восклицаниями. Стали расходиться и гости. Но Погодин и Шевырев остались. Им надо было поделиться с Веневитиновым одной мыслью, которая пришла в голову к ним обоим одновременно.

— Этого дня я во всю жизнь не забуду! — взволнованно говорил Погодин. — Я никогда не мог себе представить ничего подобного. История ожила! Но — чудо! Она не уводила от настоящего, напротив, она его освещала и объясняла, а, главное, влекла к будущему.

— Когда я услышал слова Отрепьева: «Отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет и не уйдешь ты от суда людского, как не уйдешь от божьего суда», я сразу подумал о новом призвании поэта! — произнес Шевырев.

— После пушкинской трагедии с царем Борисе ни у кого не может быть сомнения в том, что история принадлежит поэту. Как Пимен, он может написать донос потомкам на любого узурпатора, на тирана и даже на царя законного, но несправедливого. Мало того. Поэт же сам и осудит злодеев под порфирию. Пушкин об этом уже писал в своем стихотворении, предпосланном первой песне «Онегина»:

Поэт казнит, поэт венчает,
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальнем поражает;
Героев утешает он... —

проговорил взволнованно Веневитинов.

— Да, история ожила: и тайное стало явным, и сокровенное обнаружилось! — продолжал Погодин. — Потому что история имеет свой язык, который не знает преград и запрещений. Как басенный эзопов язык, он выражается намеками и применениями. Он говорит о старых временах, но смысл его речей полон событиями современности. Разве не о наших днях сказано:

Угрены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.
А там — в глуши голодна смерть иль петля.

Горжусь быть историком!

— А знаете ли, друзья, не затеять ли нам теперь новый журнал в противовес «Московскому телеграфу»? — воскликнул

Шевырев. — С переездом Пушкина в Москву это предприятие может иметь большой успех.

— Я о том же думал! — подхватил Погодин. — В новом журнале для нас для всех найдется и место и работа по душе!

— Я готов исполнять любую работу, если нужно: читать рукописи прозаиков и поэтов, давать отзывы, писать критические статьи, словом делать все, все, что потребуется, лишь бы Пушкин был с нами! — сказал Шевырев и слова его прозвучали, как торжественное обещание.

— Будет, непременно будет! — убежденно сказал Погодин. — Разве Пушкину по пути с купцами Полевыми? А ведь они среди наших журналистов еще лучшие. Что уж говорить о Воейкове или Грече с Фаддеем Булгариным? Те ради лишнего подписчика готовы любую пакость учинить! А у нас, как говорит Грибоедов, будет «сок умной молодежи». Будут талантливые поэты: Евгений Баратынский, барон Дельвиг, князь Вяземский, молодой дипломат Федор Иванович Тютчев, исключительного ума человек. Нам даст плоды своей музы наш милый хозяин, Дмитрий Владимирович, и, наконец, сам великий Пушкин. А кто у Полевого? Он сам да брат его Ксенофонт. Так оба они не поэты, а прозаики. Николай Полевой за все берется, как и подобает автодидакту. И за науку, и за критику, и за художественную прозу. Однако стихов и он не решается писать. Вот теперь затеял издавать «Историю русского народа».

— Это он в пику Карамзину. Писать, мол, надо не историю государства, а историю народа. Ладно, пусть пишет. Посмотрим, что из его писания выйдет. Карамзин-то не только ученый историк, но и писатель замечательный, а Николай Полевой только удачливый журналист, — сказал Шевырев.

— Прозаиков и даже ученых историков у нас будет больше, чем у «Московского телеграфа», — заметил Веневитинов. — Оба брата Киреевские не откажут нам в своих трудах. Иван — незаурядный критик, собирается писать обзор русской литературы за прошедший год. Петр — знаток народной поэзии и собиратель русских песен. Кроме Пушкина, исторические трагедии написали Хомяков и наш почтенный Михаил Петрович. Владимир Павлович Титов, человек разносторонне образованный, может дать интересные статьи из разных областей знания. Есть и другие! О, наш журнал будет очень, очень богат молодыми силами. Но вся наша затея останется пустым мечтанием, если с нами не будет Пушкина.

— Что ж, не сам ли Александр Сергеевич сказал: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»? Постараемся же купить его рукописи дороже, чем Полевой. Тогда у нашего гения не будет соблазна украшать своими творениями купеческий журнал. Ну да уж за эту часть я возьмусь сам! — предложил практичный Погодин.

— Конечно, ты! — согласился Веневитинов. — Кому же, как не тебе, быть и редактором нашего журнала. Ты же возьмешь на себя и хлопоты по испрашиванию разрешения. А полный состав сотрудников мы подберем по общему суждению.

— Как же мы назовем журнал?

Думали недолго и решили дать название: «Московский вестник».

* * *

Метафизики и мечтатели оказались деловыми людьми. Они исхлопотали разрешение на издание журнала, открыли подписку, собрали деньги, привлекли большое количество сотрудников. Главным редактором избрали М. П. Погодина, а его помощником С. П. Шевырева.

Пушкину предложили десять тысяч рублей с тысячи двухсот проданных экземпляров и выдали вперед пять тысяч. Пушкин согласился сотрудничать исключительно в «Московском вестнике» и для первого номера дал сцену из «Бориса Годунова»: «Келью в Чудовом монастыре».

Среди новых сотрудников большие надежды возлагали на знаменитого польского поэта Адама Мицкевича, на слепого Ивана Ивановича Козлова, на Языкова и на молодежь, которая только пробовала перо.

Однако участие Пушкина в «Московском вестнике» не приблизило его взглядов к немецким теориям, хотя ими были увлечены «архивные юноши», которые и составляли подавляющее большинство сотрудников нового журнала.

Дельвиг был недоволен участием своего старого лицейского друга в литературных предприятиях Любомудров и звал его в Петербург. Пушкин ответил:

«Ты пеняешь мне за «Московский вестник» и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее: да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а черт свое. Я говорю: «Господа, охота вам из пустого в порожнее переливать?» «Московский вестник» сидит в яме и спрашивает:

веревка вещь какъ? А время вещь такая, которую я с никаким «Вестником» не стану терять. Им же хуже, если они меня не послушают».

Николай Полевой, издатель журнала «Московский телеграф», узнав о предстоящем появлении в свет конкурента, встревожился. Он справедливо опасался того, что «Вестник» не только отобьет у «Телеграфа» подписчиков, но и перетянет к себе вслед за Пушкиным лучших русских литераторов. Поэтому он заручился сначала обещанием князя Вяземского остаться верным «Телеграфу» и надеялся, что этот пример подействует на его великого друга. Полевой решил повидать Пушкина, поговорить с ним с глазу на глаз, чтобы убедить его сотрудничать в обоих журналах, если уж нельзя будет совсем отбить его от «Вестника».

Пушкина Полевой застал в номере гостиницы. В татарском серебристом халате, с голой грудью, он перелистывал книгу Вакенродера и Тика «Об искусстве и художниках», которую ему поднес в подарок Шевырев.

Пушкин сразу же заговорил, словно продолжая свою мысль:

— Немцы видят в Шекспире черт знает что, тогда как он просто, без всяких умствований говорил то, что было у него на душе, не стесняя себя никакой теорисей. Шекспир — это гениальный мужичок.

Вскоре пришли Погодин, Титов и Мельгунов. Они позвали Пушкина на обед, который устраивали сотрудники нового журнала. Пушкин согласился, и это был своего рода ответ на то предложение, которое собирался ему сделать Полевой. Говорить пока было не о чем. Полевой уселся скромно в сторонке и стал слушать. Завязался спор о призвании художника, о поэте и толпе, об избранных и непризнанных. Пушкин молчал. Ему помнились слова Баратынского: «Ты твори прекрасное, а они пусть ломают над ним голову».

* * *

Жандармский полковник Иван Петрович Бибилов не дремал. Находясь теперь в непосредственном подчинении Бенкендорфу, он писал своему шефу донесения на хорошем французском языке.

Многочисленные чтения Пушкиным «Бориса Годунова» в различных слоях московского общества не остались без его внима-

ния. Он ознакомился с новым произведением знаменитого поэта и был им покорен. Рукописи он, конечно, не видел, но сумел подкупить слуг Соболевского и во время чтения сидел в диванной, откуда было слышно каждое слово. После этого он написал Бенкендорфу:

«Трагедия «Борис Годунов», которую читал один из моих друзей, говорят, выдающееся художественное произведение. Оно чисто историческое, сочинено в духе исторических трагедий Шиллера и написано белыми стихами».

Первого января 1827 года появился первый номер журнала «Московский вестник». И тотчас же Бибиков донес об этом Бенкендорфу.

«Ваше превосходительство найдет при этом журнал Михаила Погодина за 1826 год, в коем нет никаких либеральных тенденций: он чисто литературный. Тем не менее я самым бдительным образом слежу за редактором и достиг того, что вызнал всех его сотрудников, за коими велю следить. Вот они: 1. Пушкин. 2. Востоков. 3. Калайдович. 4. Раич. 5. Строев. 6. Шевырев. Стихотворения Пушкина, которые он ему передавал для напечатания в его журнале — это отрывки из его трагедии «Борис Годунов». Из хорошего источника я знаю, что трагедия эта не заключает в себе ничего противоправительственного».

Полковник Бибиков искренне считал себя любителем изящных искусств и в какой-то степени покровителем русской словесности.

И снова генерал Бенкендорф в нерешительности: что делать с Пушкиным? Проучить его, как это предлагает Фон-Фок? Но за что? Молодой человек ведет себя вполне благопристойно. Читает в обществе свои стихи? Так какой же поэт этого не делает? Открытое, гласное чтение в светском обществе — лучшая гарантия, что в нынешних стихах Пушкина нет ничего запретного. Часто читал свою трагедию? Так все, даже Бибиков, утверждают, что новая пьеса написана в хорошем духе! Принимает участие в московском журнале? Это естественно для каждого литератора, тем более, что все его произведения проходят и общую цензуру. С какой стороны ни подойти, а придаться не к чему и надо терпеливо смотреть за поэтом и ждать, когда он действительно прощрафится.

Оказалось, зацепка есть. Фон-Фок надоумил своего начальника. Поскольку государь вызвался сам быть цензором произведений Пушкина, следственно, до тех пор, покуда его величество

не прочтает и не одобрит того или иного сочинения, оно не может быть ни печатаемо, ни тем менее оглашаемо публично. А так как господин автор читал свою трагедию многим лицам и этим сделал ее, можно сказать, общеизвестной, следовательно, тем самым он нарушил волю монарха и обманул его доверие, ибо трагедия сия не была представлена его величеству на предварительный просмотр. За сию вину с господина Пушкина можно и взыскать. Однако не иначе, как с ведома государя.

Доклад готовился обширный, но его прервал приход адъютанта.

— Ваше превосходительство, его величество изволит вас спрашивать.

— Иду.

Фон-Фок пошел к себе в канцелярию, но приказал немедленно известить его, когда Бенкендорф вернется с доклада государю.

«Не может быть, чтобы государь благоволил к вольнодумцу и шалопаю Пушкину, будь тот хоть семи пядей во лбу. Просто его величество считается с требованием времени. Что ж, пождем, времена переменчивы», — думал Фон-Фок.

Ждать пришлось долго. Наконец его позвали к Бенкендорфу.

— Его величество изволил выразить полное свое удовлетворение от пребывания двора в Москве. Полагает, что пора уже вернуться в Петербург. Государь благосклонно отозвался о деятельности корпуса жандармов и повелел впредь поступать так же, то есть без шума, вежливо, но с твердостью.

Фон-Фок про себя отметил, что о Третьем отделении упомянуто не было.

— А как же насчет господина Пушкина?

— Его величество выразил желание лично ознакомиться с пресловутой трагедией. Публичное же чтение оной государь почел не за непослушание, а только за дурно понятую волю его по новизне дела. Так что нами должно быть принято к исполнению высочайшее предначертание: не взыскивать, но использовать. Помимо того, государь повелел сообщить господину Пушкину, что на него возлагается почетное поручение написать записку о воспитании юношества. В соответствии с изложенным мною прошу вас, любезный Максим Яковлевич, составить текст письма от моего имени на имя господина Пушкина и дайте мне на подпись.

В письме к Пушкину значилось: «Его величество остается совершенно уверенным в том, что вы употребите отличные способности свои на передание потомству славы нашего отечества, передав вместе бессмертию Ваше имя. В сей уверенности его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения: и предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания».

Читая письмо, прежде чем его подписать, Бенкендорф улыбнулся: его находчивый помощник не упустил-таки случая, чтобы не уколоть поэта.

В этом же письме было разрешение государя на проезд в Петербург. Но Пушкин решил ехать в деревню, чтобы там на досуге, не отвлекаемый никем, он мог заняться порученным делом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРВОЕ СВАТОВСТВО

*Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался — успел, а тот дал промах,
Все тот же толк и те ж стихи в альбомах.*

Грибоедов

ИТАЛЬЯНСКАЯ оперная труппа играла в небольшом театре у Арбатских ворот. Ставили «Сороку-воровку» Россини с примадонной Анти в главной роли. За два года, проведенных в псковской глуши, Пушкин соскучился по итальянской опере, которой так много наслаждался в Одессе, и уговорил Соболевского сопровождать его на спектакль.

Когда они вошли в зрительный зал, театр уж был полон. Из оркестра доносились звуки настраиваемых инструментов, шумела толпа, рассаживаясь по местам.

В креслах Пушкин увидел одесских знакомцев Завальевского и Федора Туманского, а около них сидел полковник Сергей Дмитриевич Киселев, старинный приятель по Петербургу. Не успели они поздороваться и выразить друг другу удивление от неожиданной встречи, как свет погас, зал затих, перед сценой поднялась рука в черном рукаве, взмахнула палочкой — и тотчас взвился занавес. Началась увертюра.

Всезнающий Соболевский шепнул Пушкину, что полковник Киселев — завсегдатай оперного театра. Он состоит в любовной связи с примадонной Анти и должен присутствовать на всех ее выступлениях. Певица ревнует его к московским барышням, боится, как бы его не женили, и поэтому держит всегда на гла-

зах. При нем о пении примадонны надо отзываться только с похвалой, иначе можно его кровно обидеть.

Однако лицемерить им не пришлось. Анти пела и играла очень хорошо. Пушкин искренне восхищался ею, от души аплодировал и кричал: фора!

Когда окончился первый акт, мужчины поднялись с мест и, стоя спиной к сцене, стали рассматривать публику. Внимание Пушкина привлекла ложа бенуара, расположенная в глубине зала. В ней он увидел молодую даму, красота которой его восхитила. Иссиня-черные волосы, расчесанные на прямой пробор, овальное правильное лицо, большие лучистые глаза и величавая осанка — все в ней было гармонично и полно какой-то скромной прелести. Рядом с красавицей сидели в ложе еще трое: дама постарше, небольшого роста и хрупкая, подобно статуэтке, с вьющимися золотистыми волосами, а сзади нее двое мужчин.

— Ты не знаешь ли, кто это? — спросил Пушкин, обращаясь к Соболевскому.

— Не пойму, о ком ты спрашиваешь.

— Неужто не видишь? В ложе бенуара, прямо против сцены.

— Там какая-то черкешенка сидит! — шутя сказал Туманский.

— Ошибся, друг, коренная русачка и притом родственница нашего Александра Сергеевича, хотя он ее и видит в первый раз и никогда не слышал о ней прежде. Эта стройная брюнетка — Софья Федоровна Пушкина. Она девушка небогатая, но ее красота, прекрасные манеры, знатное родство и скромность, конечно, помогут ей вскоре сделать хорошую партию. Сестра ее, Анна Федоровна, замужем за Василием Петровичем Зубковым. Она тоже хороша, но от соседства с сестрой много теряет.

— В их ложе еще какой-то молодой человек.

— А-а! Это Валериан Александрович Панин. Он, само собою, вздыхает по Софье Федоровне. Однако вздыхать вздыхает, но не слышно, чтобы сватался.

Пушкин больше ни о чем не спрашивал. То обстоятельство, что красавица носила фамилию Пушкина, показалось ему благоприятным предзнаменованием, а то, что ее постоянный поклонник еще не сватался, открывало манящие перспективы.

Пушкин перевел глаза на соседнюю ложу и там увидел двух совсем юных барышень. Одна из них подняла золотой лорнет к близоруким глазам и направила его к первым рядам кресел.

Взгляд девушки кого-то искал, но не его, и, наконец, остановился на Киселеве. Тот равнодушно озирает вокруг себя и не обращал на барышню никакого внимания. На лице ее выразилась досада. Пушкин заинтересовался этой игрой взглядов и стал внимательно всматриваться в ложу. Тут его встретил взгляд другой молодой девушки с пышными пепельными волосами, с тонкой стройной талией и прелестным очертанием лица. Большие светлые глаза смотрели на него с нескрываемым любопытством и улыбались ему. Улыбка же у ней была чудесная, насмешливая и добрая в одно и то же время.

Возбуждать любознательность — печальная участь людей, отмеченных славой. И Пушкин отвел глаза от прекрасного видения. Кто была эта барышня — не все ли равно, если она смотрела на него только из суетного желания занять праздное время.

Домой возвращались пешком. Пушкин слушал шумную болтовню Соболевского и думал о превратностях его жизни. Богатый, здоровый, свободный, Соболевский был всегда на людях. Минутами казалось, что он боится остаться наедине с самим собою. Однако это не спасало его от душевного одиночества.

Всегда деятельный, Соболевский собирал книги, коллекционировал картины, старинный фарфор, давал обеды, не пропускал ни одного бала и всегда скучал. В то же время он был очень практичен. Несмотря на то, что Соболевский жил на широкую ногу, держал лошадей, играл, блистал в свете, много путешествовал, однако богатство его не только не таяло, но даже приумножалось. Имения его приносили большой доход, он то и дело прикупал у разорявшихся помещиков-соседей их земли и леса. Стекольный завод, затеянный им совместно с Мальцевым и названный ими в шутку «Гусь хрустальный», преуспевал. Самсониевская бумагопрядильная фабрика оказалась чрезвычайно выгодным предприятием, словом, все, что только ни затевал Соболевский, цвело, развивалось, приносило доходы, приумножало богатство. А он, удачливый, но не счастливый, страдал от тоски и душевной пустоты.

— Отчего ты не женишься? — неожиданно спросил его Пушкин.

Застигнутый врасплох, Соболевский сначала посмотрел с удивлением на Пушкина: с чего, мол, ему пришла в голову такая несуразная мысль? А потом громко расхохотался и произнес длинную циничную фразу.

Ни нарочитый смех, ни напускной цинизм не обманули Пушкина. Ключ к загадке был в происхождении Соболевского, незаконного сына вдовы бригадира Анны Ивановны Лобковой, в ложном и двусмысленном положении, которое он занимал из-за этого в свете.

Задумай он жениться, разве он мог быть уверенным в том, что родные невесты захотят принять в свою семью его мать, женщину, потерявшую в глазах света право на честь. Между тем сам он всю мать обожал. Она была для него святыней. Теперь, увы, матери нет, но остался дворянин Соймонов, отец его по крови. Однако подойдет ли его избранница под благословение к фактическому отцу, сказать с уверенностью нельзя.

Нелегко преодолеть законы света, как бы условны и лицемерны они ни были. Нарушение их больно ранит самолюбие и унижает чувство собственного достоинства. И вот даже Соболевский, наглый, самоуверенный, бесцеремонный Соболевский не может устроить свою жизнь так, как хотел бы, как устраивает свою судьбу любой светский хлыщ. И живет бобылем, несмотря на богатство, на удачу, на ум, на силу, на молодость!

Не так сложились обстоятельства для него, Пушкина. Поэтому старинного боярского рода открыты двери в любую самую знатную семью. Гордость за заслуги предков слилась у него со славой первого русского поэта. Перед ним высокое поприще, признанное двором, светом, народом! Оно даст ему богатство и славу, быть может, бессмертие. Чем не жених!

* * *

А на утро приходил Митенька Веневитинов, принес приглашение от княгини Зинаиды Александровны Волконской. Митенька был безнадежно влюблен в княгиню, все это знали, и он знал, что все это знают. Поэтому он мучительно краснел, передавая приглашение.

— Княгиня Зинаида Александровна приказала просить вас, Александр Сергеевич, чтобы вы посетили ее. Живет княгиня здесь же, на Тверской, в собственном доме. По понедельникам у нее бывают литературные вечера, но вы вольны прийти к ней в любое время дня и ночи, когда захотите.

— Понедельник — тяжелый день! — отшутился Пушкин. — Да и не охотник я до литературных вечеров. Мне все будет казаться, что я на собрании «беседчиков» и повинен выслушать

эпическую поэму вроде «Россиады» в сорок тысяч строк, написанную корявым гекзаметром.

— О нет, у княгини Зинаиды Александровны не скучают. Там шутят, танцуют, поют, смеются, играют, спорят, читают романтические стихи, а главное, слушают музыку. И какую музыку! У княгини прекрасный голос, она училась у итальянских профессоров и стала замечательной певицей. Ее чистый, сильный, глубокий, контральто мог бы звучать на любой оперной сцене.

— Если так, заходи за мною в ближайший понедельник. Представишь меня княгине.

— Вот уж, право, не знаю. Ведь я, собственно, пришел к вам проститься: я уезжаю в Петербург.

— Надолго ли?

— Должно быть, навсегда.

Митенька вздохнул.

— Случилось что-нибудь?

— Меня переводят по службе. В министерстве открылась вакансия.

— Не повредил бы тебе петербургский климат. Смотри, какой ты худой и бледный.

— Московский климат мне вреднее!

Сказал, махнул рукою и смутился. Пушкин едва сдержал улыбку. Когда же Митенька ушел, Пушкин долго смотрел вслед юноше, потом раскрыл толстую масонскую тетрадь и написал:

Ответ Федору Туманскому

Нет, не черкешенка она, —
Но в доли Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.
Нет, не агат в глазах у ней, —
Но все сокровища Востока
Не стоят ласковых лучей
Ее полуденного ока.

Наступил понедельник, и Митенька пришел за Пушкиным. Нелегко было ему покидать родную Москву, отчий дом и особенно на Тверской. Он и откладывал свой отъезд, сколько мог.

Княгиня ласково обошлась с Пушкиным и приняла его так, будто была с ним век знакома. Взяла под руку и повела по залам и гостиным, потом привела в свой будуар.

— Знакомить я вас ни с кем не буду. Пушкина все знают.

Кто захочет, пусть сам вам представится. Надеюсь, что найдете у меня людей по сердцу и занятие по нраву.

Говорила княгиня то по-французски, то по-русски. Лицо у нее было открытое русское с широкими скулами и раскосыми скифскими глазами. Взгляд мягкий, но пристальный, а минутами озорной и хитрый.

Общество собралось многочисленное и разнообразное. Здесь были музыканты и художники, артисты театров, профессора университета, журналисты и, конечно, поэты.

Группа писателей, в которой Пушкин узнал Адама Мицкевича, Раича, Баратынского, Шевырева и Андрея Николаевича Муравьева, о чем-то спорила. Но к ним подошли дамы, и спор прекратился. Муравьев стал рассказывать о своих путешествиях по святым местам и странам арабского Востока. Пушкин отметил, что среди дам не было ни одной светской знакомой княгини, а только певицы, артистки, художницы, музыкантши. Очевидно, светских дам княгиня принимала в другие дни.

Сначала немного потанцевали, а потом принялись играть в живые шарады с фантами. По вынутому фанту княгине выпало петь романс. Она послушно села за рояль и под собственный аккомпанемент запела пушкинскую элегию «Погасло дневное светило». Веневитинов не преувеличивал. Княгиня пела чудесно. Голос ее, полный металла на верхних нотах, звучал на низких широко и мощно. А сколько чувства, какая тонкая музыкальная отделка! Пушкин был тронут этим проявлением внимания к нему и восхищен артистическим исполнением.

После пения игра в фанты продолжалась. Одному выпало быть исповедником, другому — сказать каждому из присутствующих одну правду и одну неправду.

— Жаль, что этот фант выпал не вам! — сказала княгиня Пушкину.

— А выполнить задание очень легко: надо сказать каждому что-нибудь лестное и что-нибудь дерзкое. А уж тот перетолкует наоборот: лестное примет за правду, а дерзость за ложь!

Вынули фант Мицкевича.

— Что делать этому фанту? — спросила княгиня.

— Импровизировать! Импровизировать на заданную тему! — послышалось со всех сторон.

Мицкевич прислонился к роялю, точно певец, готовящийся исполнить арию, и скрестил руки на груди.

— Прошу задать тему! — сказал он.

Вокруг зашептались. Но княгиня поднялась и громко на весь зал воскликнула:

— Сегодня никто не дерзнет указывать великому поэту предмет для импровизации, когда здесь присутствует другой великий поэт. Только Александру Сергеевичу Пушкину принадлежит право избрать тему для его собрата.

Мицкевич перевел на Пушкина вопрошающий взгляд. Пушкин на минуту задумался и произнес:

— Вот вам тема: «Поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением».

Мицкевич тотчас же гордо поднял голову, глаза его заискрились, грудь затрепетала, голос зазвенел, и Пушкин услышал, как из уст его вылетают стройные строфы французских стихов. Импровизатор сравнивал поэта с орлом, который парит высоко в небе, с юной девой, которая дарит свою любовь по произволу, одна молодому красавцу Ромео, другая старому негру Отелло, наконец, с ветром, который нежно веет и вдруг вихрем проносится по лугам и лесам. Таков поэт. Ему, как ветру, орлу и сердцу девы, нет закона.

Импровизация оксничилась.

— Что скажете? — спросила княгиня Пушкина.

Тот схватил руку Мицкевича и крепко сжал ее.

— Удивительно! Как чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как будто вы с ней носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению... Удивительно! Удивительно!

Мицкевич отвечал:

— Всякий талант необъясним. Каким образом ваятель в куле карарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными строфами? Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чужой внешней волей. Тщетно я сам захотел бы это объяснить...

— А разве можно объяснить гений Пушкина, когда он пишет строфы «Онегина», даже если он вкладывает в свои творения и время, и труд, и мысль, и вдохновение? — тихо спросила

княгиня Волконская. — Разве есть правила для написания той элегии, которую я сегодня пела?

— Для того, чтобы исполнить эту элегию так, как ее спели вы, нужно иметь такой же гений и такое же вдохновение, какое требовалось поэту, чтобы ее создать! — воскликнул Веневитинов.

Все на него оглянулись, и бедный юноша совсем смутился. Княгиня улыбнулась своему пылкому поклоннику, взяла его под руку, а другим крикнула: «За мной!» И повела всех в столовую.

— Шампанского! — приказала она слуге.

— За высокое искусство, за поэзию и музыку! Прекрасное едино, и я поднимаю бокал за его служителей: Пушкина и Мицкевича!

Они вернулись в зал, где продолжались игры. Пушкин рашалился так, что княгиня взяла его за ухо и сказала:

— Ну и озорник же вы, Александр!

* * *

— Москва, говорят, — ярмарка невест. Если так, то Благородное собрание — место для смотрин. Сегодня открытие зимнего сезона, бал с благотворительной целью. Съедутся все красавицы первопрестольной. Поедем, полюбуемся! — предложил Пушкину Соболевский.

— Поедем, пожалуй. Я ведь еще не видел московских публичных балов.

— Только берегись, как бы тебя не женили!

— Стоит ли беречься? Может быть, мне и в самом деле пора обзавестись собственным домком? Вот и случай невест посмотреть и себя показать.

— Сегодня мои добрые знакомые Ушаковы вывозят впервые двух юных красавиц. Ты видел их давеча в оперном театре.

— Не псмно. Должно быть, не обратил внимания.

— Неблагодарный! А бедная Катичка на тебя все глаза проглядела.

— Так эта молоденькая блондинка с пепельными волосами и была Екатерина Ушакова?

— А разве не хороша? И умна, и образованна, и семья прекрасная, и к тебе выказала самое лестное внимание.

— Ко мне ли? Боюсь, что к поэту, о котором поднят некоторый шум в модном свете.

— Разве это не одно и то же?

— Для нее — да, но не для меня.

— А для тебя в чем разница? Ведь не два Пушкина в тебе одном.

— Женское внимание к молодому мужчине совсем не то, что любопытство к поэту. С таким любопытством толпа взирает на заезжего фигляра, но не чувствует к нему ни любви, ни даже сострадания. Я знал в Кишиневе гречанку, которая целовалась с Байроном, не понимая ни слова по-английски и не подозревая, что ее возлюбленный — первый поэт Англии. И уж Байрон, конечно, мог быть спокоен, что он был дорог и мил девушке сам по себе, а не за свою поэтическую славу.

— В трудное же положение ты себя поставил! Как ты разрешишься в чувствах русской девы, которая станет искренно восторгаться прелестью твоих стихов и в то же время будет любить тебя всей душой?

— Признаюсь тебе, что сомнения меня всегда терзают, и поэтому меня влечет больше к тем девам, которые холодны к поэзии.

— Бедная Ушакова! Уж сна-то не пропускает ни одной твоей книжки, ни одного журнала или альманаха, где напечатаны твои стихи. Неужто ты с нею будешь жесток именно за это? За то, что девушка любит родной язык и обладает хорошим литературным вкусом?

— Не знаю. Что вперед загадывать, когда я с нею незнаком даже?

— Первый бал! Волнуются, чай, сестры Ушаковы! И в самом деле, как много значит этот день для девичьей гордости, а иногда и для жребия всей жизни! Любой вертопрах может наделать непоправимых бед неопытной дебютантке.

Пушкин слушал Соболевского, сосчитывал Ушаковым, но шел на бал в тайной надежде увидеть там Софию Пушкину.

* * *

Колонный зал встретил Пушкина и Соболевского шумом и теснотой. Гремела музыка, кружились пары, мелькали дамские ножки, ярко горели свечи и масляные лампы. Пушкина охватило общее оживление.

Соболевский, поддерживая Пушкина за локоть, чтобы толпа их не разлучила, подталкивал его в проход между колоннами и стеной.

— Потолкаемся сначала среди людей, посмотрим, что делается, а потом и повеселимся! — предложил он.

Пушкин послушно следовал за приятелем.

— Вон там, у второго окна, видишь, сидит Мария Ивановна Римская-Корсакова с целым выводком зрелых дочерей. Нам ее все равно не миновать.

— Это мать Григория Александровича?

— Она и есть. Женщина богатая, но всем должна и никому не платит. Зато дает балы самые роскошные, на которые съезжается вся Москва. Да и то сказать: пять дочек на выданье. Как их без балов пристроить?

— Григория Александровича я хорошо знал по Петербургу. Тогда уж был полковником гвардии. Теперь, должно быть, генерал.

— Как не так. Теперь в отставке с тем же чином. И все из-за пустяков. С ним забавный случай вышел, который и погубил его карьеру. На каком-то званом вечере, где присутствовала вся гвардейская знать, Григорий Александрович слишком плотно поел, ну и выпил, конечно. Чтоб легче дышалось, он расстегнул несколько пуговиц мундира. Это заметили и доложили командиру корпуса, князю Васильчикову. А тот приказал своему адъютанту передать полковнику Римскому-Корсакову, что поскольку-де ему гвардейский мундир тесен и его беспокоит, лучше освободился бы от него по доброй воле. Григорий Александрович понял и подал в отставку. А государь был уже предупрежден и приказал уволить Римского-Корсакова тем же чином без мундира и пенсии, «поелику замечено, что мундир господина полковника беспокоит».

— Забавно. Что же он теперь делает?

— Чудачит, как и многие богатые москвичи. Здесь много чудачков. Да ты и сам их увидишь.

У Марии Ивановны Римской-Корсаковой голос был громкий, манеры решительные, движения размашистые. Она сразу объявила Пушкину, что давно ждала знакомства с ним, что ее Гришенька скоро приедет из Петербурга и что вскоре она устраивает бал в честь знаменитого поэта и друга Гришеньки, господина Пушкина и просит его не отказать и посетить этот бал.

Пушкин смущенно поклонился. Около Марии Александровны стояла ее старшая дочь Александрина, надменная красавица с брезгливым выражением капризного лица. Чтобы прервать неловкий разговор, Пушкин пригласил девушку на танец. Когда же он привел ее обратно к чадолюбивой матушке, Соболевского около них уже не было. Он куда-то убежал, оставив друга на произвол бальной судьбы. Пушкин откланялся и пошел бродить один по залам и коридорам. Понемногу стали встречаться знакомые: Баратынский с женой, «архивные» юноши, княгиня Волконская в кругу роскошно одетых дам, Вигель и даже дядюшка Василий Львович.

Слуги разносили прохладительные напитки и мороженое. Пушкин взял блюдечко знаменитого рязановского мороженого и уселся в уголок наблюдать за толпой. Здесь вскоре его застиг Соболевский.

— Ох, умора! — загремел он над самым ухом Пушкина. — И родятся же такие дуры!

— Ты потише! — предостерег его Пушкин. — Еще услышат, неприятностей не оберешься. На меня, как на секунданта, не рассчитывай!

— Дуэли не будет! Не с кем! Да ты послушай! Танцевал я сейчас кадрили с княжной Урусовой, Софьей Александровной. Между двумя фигурами завязался разговор о тебе. Я и спрашиваю княжну: «Вы, конечно, читали сочинения Александра Сергеевича?» — «Нет, говорит, не читала». — «А что же вы читали?» — «Я читала голубенькую книжку, а моя сестра розовую».

— Так она просто богиня глупости! Вот и заведи с нею благородную интригу.

— Поздно. Она уже назначена фрейлиной и уезжает в Петербург.

— Кому ж она приглянулась? Бенкендорфу, что ли?

— Бери выше. Впрочем, и рук Бенкендорфа ей не миновать. Только несколько позже. А теперь пойдем, я тебя представлю Ушаковым.

В семействе Ушаковых Пушкину сразу понравилось все: их свободная сердечная простота обращения, певучий московский говор, веселые лица, красивые, но не вычурные наряды. Ушаковы-старшие — мать, Софья Андреевна, и отец, Николай Васильевич, — были еще совсем не старые люди. С детьми они держали себя на равной ноге. Семья была дружная, образованная, ис-

кренная. Говорили между собою по-русски, друг друга понимали с полуслова, перебрасывались шутками, не обижались за насмешки.

Пушкина удивило, что обе сестры, Екатерина и Елизавета, были совершенно равнодушны к светским успехам и не проявляли ни малейшего волнения, точно это был не первый их выезд в свет.

Пушкин сначала посидел и побеседовал с родителями. Узнал от них, что Софья Андреевна собирает русские песни, что обе дочери учатся музыке и пению у знаменитых профессоров, что особенные успехи оказывает Елизавета, что в доме даже слуги играют на разных инструментах.

Соболевский не пожелал принять участие в семейном разговоре. Он пошел танцевать с Елизаветой. Пушкин стал беседовать с Екатериной.

— Мы — барышни с Пресни, так нас в Москве называют, потому что живем мы на самой окраине города около Ваганьковского кладбища. Если вас не испугают ни расстояние, ни соседство покойников, милости просим к нам! — говорила Екатерина.

— Кто ж в Москве боится расстояний? — Недаром Грибоедов сказал о первопрестольной: «Дистанция огромного размера», а я ведь коренной москвич. Родился в Немецкой слободе, здесь и детство провел.

— А вы Грибоедова как драматического автора высоко цените?

— Очень высоко. Его комедия — произведение выдающееся.

— Скажи прямо, гениальное! — прибавил подошедший к ним с Елизаветою Соболевский.

— А разве каждый Александр Сергеевич — гений? — шутя спросила Елизавета.

— Наш-то Александр Сергеевич во всяком случае!

— А что, и среди поэтов есть свой табель о рангах?

— Местничество во всяком случае имеется.

— Если так, то я вас за многие стихи произвела бы в генералы! — сказала Екатерина.

Соболевский в поитворном ужасе замахал на нее руками:

— Да что вы! Пушкин давно признан царем русских поэтов!

— Кто же его короновал и миропомазал?

— Сам Феб Аполлон.
— В таком случае Москва теперь имеет три достопримечательности!

— Какие же?

— Царь-колокол, царь-пушку и царя-Пушкина.

— Лестно! Кланяйся, Александр Сергеевич!

— Не очень! — возразила, смеясь, Екатерина. — Потому что царь-колокол не звонит, царь-пушка не стреляет, а царь-Пушкин...

— Если у вас есть альбом, то Пушкин вам докажет, что он не реликвия, а живой поэт! — перебил Пушкин насмешницу.

— Значит, не все цари с изъязом!

Пушкин и Соболевский откланиались. Родители выразили Пушкину надежду, что на этом их знакомство не окончится и они увидят поэта у себя. Пушкин поблагодарил и пообещал в ближайшие дни побывать на Пресне.

— Буду вас ожидать и надеюсь, что вас не испугают ни версты, ни покойники, ни живые поклонники! — сказала ему на прощание Екатерина, и в ее словах почувствовалось искреннее желание, а не светская любезность.

— Какая умница! — сказал с восхищением Соболевский о Екатерине.

— Для красавицы даже слишком! Что-то в ней есть своеобразное. Я б ее назвал: ни женщина, ни мальчик.

* * *

Было уже далеко за полночь. Догорали свечи, утомились танцующие, оркестр играл не так громко, толпа редела. Вдруг посреди зала показался генерал Бенкендорф в сопровождении целой свиты молодых жандармских офицеров. В новеньких голубых мундирах, изысканно-изящные, они рассчитывали быстро блеснуть и пленить московских простушек. Дан был знак, оркестр заиграл мазурку, и офицеры в голубых мундирах растеклись по залу, чтобы пригласить барышень на танец. Но те, словно сговорившись, под разными предлогами им отказывали.

Один за другим возвращались незадачливые кавалеры к своему шефу и со смущенным видом сообщали о неудаче. Смутился и Бенкендорф. Сомнений не было в том, что московское общество выразило жандармам своеобразный протест, но ничего против этого сделать было нельзя. Желая хоть как-нибудь

исправить положение, Бенкендорф подошел к княгине Зинаиде Александровне Волконской и пригласил ее на мазурку. Княгиня с чарующей улыбкой объяснила генералу, что она сегодня не танцует, а приехала полюбоваться на молодежь. Бенкендорф вернулся к своим молодым жандармам, приказал им замять неприятное происшествие и не придавать его излишней гласности, а сам направился к семейству Римских-Корсаковых. Поцеловал ручку у Марии Ивановны и попросил у нее разрешение пригласить Александрину на мазурку.

— Пожалуйста, батюшка, танцуйте на здоровье. Только пир уж во полупире, как говорят. А лучше сегодня разведемся по домам, а вы приезжайте ко мне 26 октября, я устраиваю прием в честь нашего славного поэта Александра Сергеевича Пушкина, тогда и напляшетесь вволю!

* * *

Пушкин стоял у колонны, ожидая Соболевского, чтобы вместе ехать домой. К нему подошел незнакомый молодой человек среднего роста, с красивым и умным лицом, в котором Пушкин узнал родственника Софьи Федоровны Пушкиной.

— Друзья наших друзей — наши друзья! Позвольте представиться: Зубков Василий Петрович, друг Ивана Пушина.

— Вы — друг Жано? — воскликнул Пушкин. — О, тогда мы с вами будем друзьями.

— Приходите ко мне завтра обедать. Я живу в Старотолстовском переулке в своем доме. Это совсем недалеко от дома Рынкевича, где живет Соболевский. Тогда обо всем переговорим.

— Буду, буду!

Они пожали друг другу руки и расстались.

— Боже, к ней! Какая удача! Конечно, пойду! Какое благоприятное предзнаменование.

С этой минуты Пушкин стал про себя называть Софью Федоровну «она».

* * *

Когда Пушкиным овладевало сильное и глубокое чувство, он становился робок и нерешителен. Между тем обстоятельства требовали действий и действий быстрых. Праздной жизни в Москве оставались считанные дни. Новые обязанности требовали отъезда в деревню, чтобы там на досуге без помех писать о

воспитании юношества. Но, кроме царского поручения, Пушкина влекло из Москвы желание отделаться от пестрых впечатлений, которыми были богаты последние недели его жизни. Надо было, чтобы все это улеглось, обратилось в воспоминание и запро-силось на бумагу.

Хотелось перед отъездом посетить Зубкова и Ушаковых. Сначала Пушкин предполагал сделать Зубкову официальный десятиминутный визит, а потом уж продолжать знакомство в зависимости от того, как пройдет первая встреча. Но вспомнил теплый сердечный тон Василия Петровича, вспомнил, что оба они друзья Пушина и, значит, обоим нужно будет время, чтобы поговорить об общем друге, наконец, во время официального визита он может и не увидеть Софьи Федоровны, и положил навестить Зубкова в пять часов. Это время «меж волка и собаки», как говорят французы, должно быть самое удобное для хозяина. Ни службой, ни гостями он не связан. Обед уже окончен, а до ужина далеко. Если и поспал по русскому обычаю, то к пяти уже проснулся.

К удивлению Пушкина, он застал Зубкова и его семью за чайным столом. Они придерживались английского обычая, фэйр о клок ти, пятичасового чая. Анна Федоровна, жена Зубкова, была несколько расстроена недомоганием своей годовалой дочурки Оленьки. Зубков терпеливо, ласково и со знанием дела объяснял жене, что у ребенка прорезываются зубки и что в это время он, естественно, плачет и капризничает, но молодая мать то и дело выходила в детскую и оттуда возвращалась с заплаканными глазами. Зубков все свое внимание уделял жене и дочери, так что Пушкина занимала разговор преимущественно Софья Федоровна. Приветливый, мягкий в обращении тон девушки удержал Пушкина от поспешного ухода. Он рассказал ей, что пришел одновременно, чтобы и познакомиться и проститься, потому что уезжает по неотложным делам в деревню. Когда вернется, не знает.

— Возвращайтесь к первому декабря! — сказала Софья Федоровна.

Она имела в виду пригласить Пушкина на свою помолвку с Паниным, который на днях сделал ей предложение. Пушкин же, не подозревая этого, воспринял ее слова иначе. И решил ускорить свой приезд, потому что «она велела».

Вернулся из детской Зубков. Он уложил дочь и успокоил мать.

— Пойдемте ко мне в кабинет! — сказал он Пушкину. — Там продолжим нашу беседу!

Пушкин не без сожаления простился с Софьей Федоровной.

Кабинет Зубкова ничуть не напоминал комнаты богатого светского человека. Мебели в нем были самые простые, книги стояли на полках и в шкафах, по стенам висело множество коллекций насекомых. На рабочем столе лежала большая доска, к которой гвоздиками была прикреплена ватманская бумага. Хозяин серьезно занимался естественными науками, историей, политической экономией и правом. Для отдыха стоял небольшой диван.

Пушкин уселся за письменный стол, на котором увидел два бокала: один был полон очиненных гусиных перьев, точно колчан со стрелами, другой тонко отточенных карандашей, чтобы хозяин рисовал или чертил без помехи. Комната была освещена так, что свет падал на стол слева, оставляя в тени остальную часть кабинета.

Зубков ходил большими твердыми шагами по красному ковро. От его ног на ковер и стену ложилась тень, похожая на ножницы. Дойдя до края комнаты, он делал поворот кругом и снова начинал ходить. Наконец он остановился, прищелкнул каблуками и, обратившись к Пушкину, сказал взволнованным шепотом:

— Нам надо поговорить о многом. И, прежде всего, о нашем несчастном друге, мученике идеи. Но я хотел бы рассказать вам о главном происшествии в моей жизни, память о котором не изгладится никогда.

— Я рад буду выслушать все, что вы мне ни расскажете.

Пушкин взял в руки карандаш. Привычка слушать и думать с пером или карандашом в руках, отзываться на свои мысли рисунком или записью, была для поэта неистребимой потребностью.

— Могу сказать, как Грибоедов:

Покорный времени и вкусу,
Я ненавидел слово «раб».
Меня позвали в Главный Штаб
И потянули к Иисусу.

За что? Вины моей никакой не было, я к заговору не принадлежал, на Сенатской площади не бунтовал и все же меня схватили, посадили в сани и повезли в Петербург. Я сам судия

и знаю, как беспомощен русский человек перед следствием. Ведь закона, который бы ограничивал власть следователя, у нас нет. А если бы и был, что толку? Его легко обойти или нарушить. Наш следователь, что захочет, то и сделает. Никакого взыску с него не будет. Даром, что ли, в народе говорят: «Что нам законы, когда нам судьи знакомы?» Но начну по порядку.

Аресты в Москве начались вскоре после 14 декабря. Сначала взяли Михаила Орлова и Никиту Муравьева. Затем были арестованы кавалергарды Свињин и Кологривов, затем Колошин и Семенов, а к утру Михаил Нарышкин и Штейнгель. Говорили, что взят и генерал Раевский. Его, Орлова и Никиту Муравьева называли вождями заговора. В связи с этим один из адъютантов Раевского, у которого в кабинете висел портрет генерала, сорвал портрет со стены, подписал внизу: «предатель» и выбросил портрет в мусорную яму.

После ареста Кашкина я стал ощущать беспокойство. Сознание собственной невинности меня поддерживало, но среди арестованных сказалось много моих друзей. Вскоре настал и мой черед. Не могу описать вам тех чувств, которые я испытал, прощаясь с семьей, потом по дороге в Петербург и, наконец, в тот момент, когда меня ввели в страшную Петропавловскую крепость и ввергли в темный и сырой каземат, когда закрылась тяжелая железная дверь и я услышал, как повернулся большой ключ и щелкнул замок. Все это, должно быть, уже много раз описано и всем известно, но, когда сам испытываешь впервые, то впечатление не сотрется из памяти никогда. Скажу вам, не стыдясь слабости, что когда я остался один, а передо мной были только четыре голых сырых стены, узкая железная кровать, столик и стул, я повалился, как был, одетый в медвежью шубу на свою печальную постель и заплакал, как ребенок. Но этим стенам были привычны и слезы и стоны.

Утром меня позвали на допрос. В большой комнате стоял длинный стол, покрытый красным сукном. За ним сидели граф Татищев, генерал Чернышев и генерал-адъютант Бенкендорф. В стороне я заметил ширму, но не понял ее назначения. После я узнал, что за этой ширмой часто сидел государь и слушал, как допрашивают арестованных.

Первым ко мне обратился Бенкендорф:

— Ваши близкие связи с Пушиным, Колошиным, Семеновым и Кашкиным, а также показания, данные против вас, не оставляют сомнения, что вы были членом тайного общества. По-

этому расскажите все откровенно. Император милостив, и можете надеяться на прощение. Если же вы будете все отрицать, вы погибли. Итак, были вы членом этого общества?

— Генерал, — ответил я, — я никогда не был членом никакого тайного общества и даже не знал о его существовании.

— Вы настаиваете на отрицании. Ну, что ж, мы дадим вам очные ставки с вашими друзьями, вернее, вашими обвинителями и посмотрим, что вы тогда скажете.

Мне дали список вопросов, на которые я должен был дать письменные ответы, и меня увели обратно в каземат. Два дня меня не беспокоили, и я написал подробные показания о своих знакомствах с Пушиным, Колошиным, Семеновым и Кашкиным и настаивал на своей полной невинности. Впоследствии я узнал, что никаких уличающих меня показаний никто из моих друзей не давал. Меня угнетала тоска и нечистота вокруг, скверная пища, дурной запах.

Однажды ко мне ввели священника. Я был крайне удивлен, потому что не нуждался в его услугах и не просил его. Попик был небольшого роста с всклоченной бороденкой. Если бы не ряса, его можно было принять за кухонного мужика. «Что вам угодно, батюшка?» — спросил я его. — «Я прислан к вам от Тайного Комитета, чтобы убедить вас говорить всю правду и ничего не скрывать». — «Я именно так и делаю». — «Верно не так, если меня прислали увещевать вас». — «Если ваша задача убедить меня говорить правду, то ваши слова бесполезны, потому что я говорил и говорю Комитету одну только правду». Не добившись от меня больше ничего, поп недовольный ушел. Еще через два дня в моем каземате появился сосед. Сначала я обрадовался, надеясь, что мне станет легче от присутствия такого же несчастного, который разделит мое одиночество и тюремную тоску. Новый арестант был в ручных кандалах с повязанной головой. Едва войдя в каземат, он закричал: «Будем говорить только по-французски!» Я тотчас выразил свое согласие, но он меня не услышал. Оказалось, что он совсем глухой. «Меня зовут Якубович! — прокричал он мне. — Я капитан Нижегородского драгунского полка. Я не принадлежал ни к какому тайному обществу, потому что не люблю плясать под чужую дудку. Но я приехал с Кавказа, чтобы убить императора Александра, и теперь меня обезглавят».

Я смотрел с удивлением на этого высокого смуглого человека с черными навывкате глазами, словно налитыми кровью, с

огромными усами и зверским выражением лица. Он меня явно морочил, но с какой целью? Это я понял только тогда, когда храбрый капитан стал говорить, что Комитет все знает и нет никакого смысла от него таиться. Вскоре капитана увели, и я его больше никогда не видел. Оставшись один, я пораздумал над тем, что у моих судей должно быть мало улик против меня, если они прибегают к таким приемам, как подсылка ко мне попа и капитана, рассмеялся и успокоился. Через два дня меня снова позвали в Комитет. Сбоку от стола, за которым расположились члены Комитета, стояло отдельное кресло, в котором я увидел незнакомого мне молодого генерала. Меня к нему подвели.

— Ты стоишь перед своим государем, — сказал он мне, — говори всю правду!

— Иного от меня и ждать нельзя, ваше величество! — ответил я. — Ведь я сам судия и служу правосудию.

— Тогда признавайся откровенно, в чем виноват.

— Ваше величество, я ведь не знаю, в чем меня обвиняют.

— В том, что ты состоял в тайном обществе и умышляла изменить государственный строй в России.

— Это неправда, ваше величество! — ответил я. — Если бы я был мятежником, меня бы видели в Петербурге на Сенатской площади. Я же никуда из Москвы не выезжал. Что же до моего участия в тайном политическом обществе, то я его отрицаю и прошу предъявить мне того, кто на меня показывает, ибо это оговор.

— Об этом в свое время. А пока скажи, знаешь ли ты барона Штейнгеля?

— Нет, не знаю, ваше величество, и никогда знаком с ним не был.

— А Пущина знаешь?

— Как же, знаю и даже был с ним в дружбе.

— Вот видишь, а этот Пущин один из опаснейших и деятельных членов общества. Значит, он тебя и вовлек.

— Нет, ваше величество, быть того не может, чтобы Пущин меня ложно оговорил. Он судья справедливый и совестливый, он и послухом будет честным и добросовестным. Дружьями мы были, это верно, служили вместе, но он меня никогда не посвящал в свои политические дела.

— Ты был офицером, ты получил воспитание в Московскѣй школе колонновожатых, перед тобой открывалась дорога к пре-

красной карьере. Почему ты все это бросил и занял низкую должность судии?

— Не скрою от вас, ваше величество, что в этом отчасти на меня повлиял пример Пушкина. Он счастливо служил в гвардии конным артиллеристом. У начальников он был на лучшем счету, товарищи его любили, и он мог бы далеко пойти, если бы искал чинов и почестей. Но его влекло другое — служение отечеству. Что греха таить, государь, много неправды творилось и творится в наших судах. Мудрено ли, что нашлись молодые люди, а среди них и Пушкин, которые пренебрегли выгодами карьеры и решили сами стать судьями, чтобы меньше было зла от несправедливых приговоров. Что же в этом дурного, ваше величество? Признаюсь, что этому примеру последовал и я!

— Так-то так, да ведь вы от этого могли много в жизни потерять.

— Служение отечеству неизбежно требует жертв. Зато совесть у нас была чиста. А теперь нас оправдает и пример нашего государя.

— Как так?

— Смею сказать об вас, ваше величество. Вы облечены саном, выше которого нет на земле. Вы самодержец всероссийский и помазанник божий. Однако вы не погнушались лично участвовать в следствии над заговорщиками во имя правды и справедливости, чтобы не пострадал невиноватый. Среди высоких государственных забот вы находите время и силы принимать непосредственное участие в следственных действиях, и это для нас, судей, должно стать вдохновляющим примером.

— В этом ты прав. Обещаю тебе, что скоро я дам России такие законы, которые установят порядок и праведный суд: скорый, правый и милостивый.

— Дай-то бог, ваше величество! Желаю вам успеха в этом великом деле, достойном Юстиниана.

Государь дал знак, меня увели, а через несколько дней я был освобожден с очистительным аттестатом.

— Вы, конечно, говорили с государем искренно, не желая ему польстить, — сказал Пушкин. — Но не кажется ли вам, что государь присутствовал в Комитете на допросах, потому что не очень доверял членам Комитета? И в самом деле, кто был 14 декабря на Сенатской площади? Одни дворяне и притом лучших фамилий. Получилось так, что генерал Чернышев допрашивал Захара Чернышева, Алексей Орлов своего брата Михаила

Орлова и у других членов Комитета были родственники среди заговорщиков. Один Сперанский не имел родственных связей с привлеченными к делу. На него и пала вся тяжесть производства следствия и суда.

— А ведь вы правы! — сказал Зубков. — Мне это и в голову не приходило.

— С вами, небось, генерал Бенкендорф по-французски разговаривал?

— Само собою, по-французски!

— А суд-то русский! Где в чужих краях видано, чтобы судьи с обвиняемыми говорили на языках чужих стран, а не на родном, вернее, государственном языке?

Зубков рассмеялся. Перестал ходить и заглянул на лист бумаги, который лежал перед Пушкиным. Оказалось, что поэт рисовал портреты тех лиц, о которых упоминал в своем рассказе Зубков. Рисунки показались Зубкову очень удачными. Он не ожидал найти в поэте дарование живописца. Не все наброски Пушкина изображали людей, знакомых Зубкову. Видно было, что Пушкин, слушая рассказ об аресте, допросе и освобождении Зубкова, то отзывался на слышанное портретами лиц, которых упоминал рассказчик, то отклонялся в сторону и думал о других, близких ему людях, которых он почему-то вспомнил по ходу рассказа. Портреты Пестеля и Рылеева были Зубкову понятны. Это были два вожака движения, так недавно погибшие от руки палача. Одно только было странно Зубкову. Пестель на рисунке Пушкина очень напоминал Наполеона. В его лице была выражена волевая сосредоточенность, полковничий мундир крепко облегал сильную фигуру, тяжелый подбородок со стиснутыми челюстями и по-бонапартовски свисающие пряди волос довершали сходство. Сознательно ли Пушкин искал этого сходства или оно проявилось произвольно? Видимо, на поэта-художника повлияло общее мнение, обвинявшее Пестеля в честолюбии, в стремлении к личной власти. Два других рисунка — портреты Василия Львовича Давыдова и генерал-интенданта Юшневского — изображали людей, которых Зубков не знал, но которые были в числе руководителей Южного общества. Зато он легко распознал два автопортрета Пушкина, фигурку Венеитинова в цилиндре и во фраке, наконец, князя Петра Андреевича Вяземского и его супругу Веру Федоровну.

Зубков осторожно вытащил гвоздики, свернул лист ватмана в трубку и сказал:

— По римскому праву рисунок, сделанный па чужой бумаге, становится собственностью владельца бумаги, ибо принадлежность следует судьбе главной вещи. Если же вы будете утверждать, что главная вещь рисунок, а бумага ее принадлежность, то пусть нас рассудит претор.

Пушкин рассмеялся.

— Где мне тягаться с вами в римском праве? Нравятся рисунки — возьмите. Все же я хотел спросить вас о том же, о чем спрашивал и государь: в самом деле, как это случилось, что вы последовали примеру Пуштина в таком трудном деле и заняли должность судьи?

— Перед вами таиться не буду. Я не готовился к этой деятельности. Меня всегда интересовала естественная история. Особенно я изучал повадки насекомых и собрал большие коллекции. Вред нашим садам, полям и огородам так велик, что борьба с жучками и букашками стала необходимой не только для нас, помещиков, но и для всех, кто желает блага мужику или родному краю, что то же самое, ибо мужик всех нас кормит. Но хлебороб не понимает, что невинная на вид бабочка в тот период, когда она имела форму гусеницы, уничтожила больше деревьев в его саду, чем лютые враги садов и огородов — мальчишки.

Но, кроме естественных наук, мне пришлось заниматься и науками политическими. А тут кстати довелось уехать на два года в чужие края. Из этой поездки я вынес много полезного, но мое особое восхищение вызвал суд присяжных, который я увидел в Париже. Вообразите огромное здание в стиле барокко на берегу Сены, подлинный дворец правосудия. Зал, вмещающий несколько сот человек, разделен, как театр или храм, на две части. В правой части — скамьи для публики, в левой — на подмостках стол, за которым заседают судьи в широких мантиях и высоких шапках, символ отрешенности от повседневных сует. Там же, огороженная решетками, скамья подсудимых. Перед ней конторка для адвоката. Напротив, на высоком постаменте, пюпитр прокурора и два ряда скамей для присяжных заседателей. Их двенадцать и два запасных. Они-то и решают судьбу обвиняемого. Суд открытый, гласный. Прокурор должен доказать свои обвинения, а подсудимый имеет право или сам, или через своего защитника опровергнуть их. Так что судебный процесс превращается в спор между обвинением и защитой. Это назы-

вается состязательным процессом. Всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Какие умные, блестящие речи произносят стороны при этом! Они сочетают глубину мысли с изяществом изложения. Такой процесс не только поучителен для слушателей, но также доставляет им огромное наслаждение.

Мне пришлось присутствовать во время слушания дела об убийстве из ревности. Какое знание человеческой природы обнаружил защитник и добился своего. Его клиент был оправдан, хотя он и совершил убийство. Возможно ли у нас такое? Будет ли в России когда-нибудь суд присяжных?

Во время слушания этого дела случился забавный анекдот, который хочется вам рассказать. Во Франции остроумны и судьи, не только адвокаты и прокуроры. Понадобилось допросить горничную пострадавшей о некоторых интимных обстоятельствах ее жизни. Ожидались подробности не для дамских ушей. В таких случаях суд имеет право слушать дело при закрытых дверях. Председатель суда обратился к зрительному залу с такими словами: «Дамы, которые считают себя порядочными, пусть покинут зал заседания. То, что они услышат, может оскорбить их слух и стыдливость». Пять-шесть дам вышло, а оставшиеся про себя думали: пусть, мол, судья считает нас за непорядочных, нас от этого не убудет, зато мы послушаем альковные секреты. Но председатель был не так прост. Он подождал, когда за ушедшими закрылась дверь, и провозгласил: «Теперь, когда порядочные женщины вышли, остальных я сам удалю. Господин судебный пристав, очистите зал от всех дам!»

Зубков добродушно расхохотался. Посмеялся и Пушкин, глядя на него.

— Вскоре я вернулся на родину и стал подумывать о службе, — продолжал Зубков свой рассказ. — К тому времени я уж был женат и часто бывал в дяди Алены Федоровны, князя Голицына, московского военного генерал-губернатора. У него я и познакомился с Пушиным. Однажды на балу у Голицыных Иван Иванович танцевал с княжной Натальей. Был там и князь Юсупов. Он спрашивает меня: «Кто этот молодой человек?» Я ответил ему: «Надворный судья Пушкин». — «Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное».

Пушин был человек обаятельный, мы с ним скоро подружились, а кончилось тем, что я последовал его примеру и стал судьей уголовного департамента Московского надворного суда.

— Жано посетил меня в Михайловском, провел у меня три незабываемых дня и рассказал о своем служении правосудию. По его отъезде я стал набрасывать стихотворное послание, которое еще не окончено и не отделано. Все же я вам его прочитаю:

Нежданный гость, мой друг бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Пустынным снегом занесенный,
Твоей колокольчик огласил.
Забытый кров, шалаш опальный,
На стороне чужой и дальней
Ты с утешеньем посетил,
И день отрадный и печальный
С тобой изгнанник разделил.
Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы,
Скажи, где наши, где друзья?
Где эти липовые своды?
Где молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш лицей.
Но ты счастлив, о брат любезный,
На избранной чреде своей.
Ты победил предрассужденья,
В глазах общественного мнения
Ты от признательных граждан
Умел истребовать почтенья,
Ты возвеличил мирный сан
В его смиренном основаньи,
Ты правосудие блюдешь...

С радостью вижу, что мое послание относится и к вам.

В дверь постучалась горничная.

— Барыня просит вас зайти в детскую. Оленьке стало хуже.

— Простите меня, мой друг, но такова изнанка семейного счастья.

— А я завидую даже вашим огорчениям и домашним тревогам. Мне постыла холостая свобода.

— За чем же дело стало? Женитесь! Только помните, что семейное счастье недолговечно и однообразно.

— А как вы думаете, пойдет за меня ваша свояченица, Софья Федоровна?

— Я не хранитель девичьих тайн! Вы лучше у нее сами спросите!

И Зубков поспешил к больному ребенку, а Пушкин ушел, не попрощавшись с дамами.

К Ушаковым Пушкин и Соболевский попали в неприятный день. Софья Андреевна и Николай Васильевич собирались в гости. Они уж были совсем одеты и только ждали, когда подадут экипаж.

— Вы уж не обессудьте, что мы не отложим лошадей и уедем, — говорила Софья Андреевна Пушкину своим мелодическим голосом. — Давно обещались вашему родичу, Алексею Михайловичу Пушкину побывать у них. Я ведь с женой его, Еленой Григорьевной, в давней дружбе. В их доме любят литераторов, и Батюшков там принят, как родной. Надеюсь, что вы и без нас не соскучитесь. Барышни мои дома, они вас напоят чаем и накормят ужином.

— Позвольте и я с вами поеду! — сказал Соболевский. — Там, наверное, будет и дядюшка Александра Сергеевича, Василий Львович. Эти два Пушкина — кузены, а как встретятся, так и сцепятся.

— Особливо, если ты будешь натравливать их друг на друга! — сказал смеясь Николай Васильевич.

— А ведь забавно смотреть, как они пикируются, упражняются в остроумии, соперничают, играя в буримэ, пишут альбомные стихи и галантно угождают дамам! — ответил Соболевский.

— Вечные соперники, это правда! — заметила Софья Андреевна. — Зато уж в словесной потасовке никогда не выходят за пределы благопристойности. А ты, Володя, поедешь с нами? — обратилась она к сыну. — Место в карете есть. Поедем, развлечешься немного.

— Благодарю вас, маменька, но мне не хочется уезжать из дому.

— Ин ладно. Дома, так дома.

И старшие Ушаковы уехали, захватив с собою Соболевского.

— Сестрицы, принимайте гостя! — возгласил молодой Ушаков и ввел Пушкина в гостиную.

Там за роялем полковник Киселев разучивал с Елизаветой какой-то дуэт. Елизавета в очках, низко склонившись над прыпитром, разбирала ноты и напевала, отстукивая себе такт ногою. Она так увлеклась своим занятием, что и не услышала, как вошел Пушкин. Екатерина же сидела в дальнем углу комнаты у камина в вольтеровском кресле и читала какую-то книжку при свете трехсвечного шандала.

— Здравствуйте, самодержавный поэт! — громко приветствовала она Пушкина.

Отложила книжку на круглый столик и пошла ему навстречу.

— Вижу, я всем помешал! — сказал Пушкин.

— Верно! Помешали... скучать! — рассмеялась Екатерина.

Киселев встал от рояля и дружески поздоровался с Пушкиным. Елизавета сорвала с глаз очки, оправила волосы и протянула гостью руку.

— А теперь обратно по местам! — скомандовала Екатерина. — Вы продолжайте свои занятия музыкой, а я с Александром Сергеевичем посижу у камина и поболтаю. Володя, распорядись, чтобы поставили самовар и приготовили ужин. Да не забудь заморозить бутылки две шампанского.

Екатерина снова уселась в вольтеровское кресло, а Пушкин расположился около нее на низком пуфчике, оглядел комнату и заметил на стене картину. Она изображала бухту, в которой стояла эскадра военных кораблей. Над ней висел портрет адмирала Ушакова. Книжный шкаф красного дерева с богемским стеклом довершал убранство скромной комнаты.

Книжка, которую Екатерина читала, оказалась второй главой «Онегина», только что вышедшей из печати.

— Я познакомилась с четырьмя героями вашего романа, — начала Екатерина, — но знаю о них еще очень мало. Из последующих глав, должно быть, читатель будет осведомлен о том, кто кого полюбил, кто кому изменил, кто претерпел перемены своей судьбы и так далее, как обычно водится. Но меня заинтересовал пятый герой, тот, который о себе написал: «Любви безумную тревогу я безотрадно испытал».

— Разве автор не может поместить себя среди героев своего произведения?

— Может, и это даже очень смело с его стороны делать такие признания публике, если только он не выдумывает сам на себя для красного словца.

— Вы вольны думать об этом все, что вам будет угодно.

— Пока я думаю, что вы подчеркиваете разность между Онегиным и собою для того, чтобы не думали, что своего героя вы списали с самого себя, как это делал Байрон. Может быть, другие главы разубедят меня. Когда они выйдут в свет? Я страх как любопытна!

— От нас не скрою, что уже готовы к печати шесть глав, а я работаю над седьмою.

— Я была бы вам очень благодарна, если бы вы дали мне прочесть их в рукописи. Я не задержу их вам ни на один день.

— Не давайте ей ваших рукописей, Александр Сергеевич! — воскликнула Елизавета, оторвавшись от нот. — Она их переписывает, выучит наизусть и будет читать всем родным и знакомым. У нее страсть переписывать стихи.

— Это верно, переписывать я люблю, особенно ваши стихи. Но читать их никому не буду.

— Она их все наизусть знает! — снова подала голос Елизавета.

— Родная сестра и та выдает меня! — рассмеялась Екатерина. — Впрочем, я не скрываюсь. Ни один поэт не нравился мне до сих пор так, как вы. Разве еще Грибоедов. Смотрите, я не поленилась и переписала всю его комедию.

И Екатерина протянула Пушкину толстую книгу в переплете с красной кожаной наклейкой, на которой было вытиснено: «Н. Ушаков».

— Это я подарила папе, который так же, как и я, восхищался пьесой. Мы с папой обратили внимание на то, что герой вашей поэмы «Кавказский пленник» говорит черкешенке, которая его полюбила: «Нет, я не знал любви взаимной, любил один, страдал один, и гасну я, как пламень дымный». То есть то же самое, что герой вашего лирического отступления в «Онегине».

— Вижу, что вы читаете мои стихи пристальнее, чем автору бывает желательно, и знаете их наизусть. Все же я вам дам новые главы «Онегина», но прошу вас не читать их никому до выхода из печати, потому что покупать не будут, и вы повредите моей стихистой торговле.

Екатерина кивнула головой и потом вдруг спросила шепотом:

— А как вы думаете, мог бы ваш Онегин жениться на крепостной?

— Я об этом никогда не думал. Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Потому что наш Володя полюбил крепостную девушку и хочет на ней жениться.

— Родители, конечно, в отчаянии?

— Не совсем. Они огорчены, думали, что он найдет себе более подходящую партию, но если он с нею будет действительно

счастлив, то пусть делает, как хочет. Просят его только не спешить.

— Поэтому он сегодня так грустен, ваш брат?

— Само собою. Должно быть, он еще и сам не решается.

— Тревожат светские предрассуждения?

— И это. Но больше сомневается, любит ли его Наташа. И в самом деле, кто разберет, любовь ли у нее или желание стать барыней. Сказал мне, что если бы не эти сомнения, его ничто бы не остановило. А свет пусть говорит и делает, что ему заблагорассудится.

Вошел Володя и они замолчали.

— Пожалуйте ужинать!

За столом было весело. Воцарился обычный в семье Ушаковых тон взаимного поддразнивания, шуток, забавных рассказов, острот и каламбуров.

— Предлагаю молчаливые тосты! — сказала Екатерина, когда на прощание было разлито шампанское по бокалам. — Пусть каждый произнесет про себя имя того или той, за чье здоровье он пьет. Так будет честнее. А то гости будут пить за здоровье хозяев, хозяева за гостей, и не разберешь, где искренность, а где воспитанность.

Предложение было принято. Елизавета выпила за Киселева, а Киселев за примадонну Анти. Екатерина за Пушкина, а Пушкин за Софью Федоровну. Володя выпил за свою Наташу. За кого бы выпила Наташа, кто знает?

Вспоминая проведенный вечер, Пушкин должен был себе признаться, что такой девушки, как Екатерина Ушакова, он еще никогда не встречал.

* * *

Время, оставшееся до отъезда, Пушкин делил между Зубковыми и Ушаковыми. С Василием Петровичем он сближался все больше и больше; перешел с ним на «ты», часами вел с ним беседы на темы, которые волновали все русское общество. Особенно много они говорили о новом царствовании, об участии осужденных заговорщиков. Софью Федоровну Пушкин по-прежнему встречал только за чайным или обеденным столом, за которым бывал и Панин, и ни разу не мог поговорить с нею наедине.

В доме Ушаковых было совсем по-другому. Там поэт участвовал в общем веселье, подшучивал над девушками, и они в свою очередь посмеивались над ним. Зато никто ему не препят-

ствовал вести отдельный разговор, будь то с Екатериной или с Елизаветой, о литературе, о чувствах или о светских новостях.

Екатерина быстро прочитала все главы «Онегина», которые Пушкин ей доставил, и, возвращая ему рукописи, сказала:

— Бедная Татьяна! Для чего она первая объяснилась в любви Онегину? Если бы он продолжал бывать в доме, он и так бы все увидел и понял, потому что если любовь пришла к девушке, то ее скрыть невозможно. Если же Татьяна не рассчитывала больше увидеть Онегина, то писать бесполезно.

Пушкину легко было убедиться, что подтверждением этих слов была сама Екатерина. На ее столике лежали его книжки, на рояле — ноты с музыкой на его слова, в альбомах и тетрадках его стихи, переписанные ею из «Полярной звезды», «Московского телеграфа» и других журналов и альманахов. Говорила она с Пушкиным о его жизни, его планах и его стихах. Очень мало о себе. И ни от кого не скрывала, что все содержание ее жизни сосредоточилось в нем одном.

А критиком Екатерина была придиричивым и строгим.

— Скажите, почему Онегин спрашивает Ленского: «Которая Татьяна? Ведь Ленский был женихом Ольги, значит, надо было его спросить: «Которая Ольга?» уж если сам он не мог разобраться в двух сестрах?

— Думайте сами, не могу же я отвечать всем читателям на вопросы, которые они задумают мне задать. Ответ простой.

— А-а, понимаю. И как я раньше не догадалась? Когда вошла Татьяна, Онегин нашел ее такой поэтичной, что счел ее Ольгой, невестой поэта. Ему и в голову не пришло, что хорошенькая, но обыденная барышня, румяная и полная, овладела мечтой Ленского. Это только значит, что Татьяна понравилась Онегину с первого взгляда и могла бы рассчитывать на его внимание.

— Вы точно подглядели мои черновики. Но не надобно все высказывать. В этом тайна занимательности.

— Все-таки, пожалейте Татьяну. Вы бы ее хоть замуж выдали!

— Выдам, выдам и за молодого генерал-адъютанта!

* * *

День отъезда в Михайловское был назначен, а проститься с Зубковым и его семьей никак не удавалось: они все были чем-то заняты. И Пушкин отослал Василию Петровичу записку:

«Я надеялся вас видеть и говорить с вами еще до моего отъезда, но злая судьба преследует меня во всех желаниях. До свидания, дорогой друг, я еду похоронить себя в деревне до первого января. Еду со смертью в сердце».

Рано утром он написал стихи к Софье Пушкиной, но не решился их послать ей.

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
В уныньи робком ожидать.
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней:
Тогда изгнанием и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

Пушкин взял коляску Соболевского и отправился делать прощальные визиты. Листок со стихами он захватил с собою, чтобы дать его Погедину или Шевыреву для напечатания в «Московском вестнике».

Объезд знакомых он начал с Ушаковых. Там все искренно пожалели, что расстаются с полюбившимся им поэтом. Екатерина, провожая его в сени, сказала: — А нет ли у вас каких-нибудь новых стихов? Оставьте мне на память!

— Нет или... есть! — И Пушкин отдал девушке смятый листок. — У меня один только список. Он предназначен для журнала. Перепишите и верните мне оригинал, когда я приеду.

Екатерина прочитала стихи и взглянула на Пушкина блестящими благодарными глазами. Она была уверена, что стихи относятся к ней.

* * *

Самая короткая дорога — знакомая. Обратный путь в Михайловское прошел так быстро, что Пушкин его и не заметил. Осень — любимая пора, пора трудов и вдохновений. Он сочинял уже в коляске.

Первое утро в родном доме Пушкин провел как обычно: рано встал, освежился в бочке с водой, стоявшей в сенях, растерся жестким полотенцем и с мокрыми волосами снова лег в постель, чтобы поработать над запиской о народном воспитании. После

завтрака взял палку и отправился на прогулку. Перед ним открылись знакомые картины: неширокая извилистая река Сороть, паром, село Дериглазово, длинный неказистый деревянный дом, куда временно из-за пожара переселилась Прасковья Александровна Осипова, да там и осталась. Пруд, за прудом великолепный сад и, наконец, полянка, обсаженная липами, которую называли «залом». В этом «зале» молодежь танцевала и веселилась.

Вот и береза, раздвинувшая свои два ствола так, что среди них образовалось кресло. На нем Пушкин часто сиживал и в дупло березы для памяти опустил пятак. Вот и баня, в которой жил Языков, а иногда с ним там ночевал Пушкин.

Первой увидела Пушкина Зина Вульф, семнадцатилетняя дочь Прасковьи Осиповны от первого брака. Она выбежала, затормошила поэта и, схватив его за руку, повела в дом. Вся семья была в сборе. Приехал даже старший сын, Алексей Николаевич Вульф, только что окончивший Дерптский университет. Пушкина забросали вопросами, но он был неразговорчив. Пообещав попозже рассказать о царской аудиенции и о московских впечатлениях, Пушкин пошел с Алексеем Вульфom в библиотеку, где было много исторических книг, в том числе и «Деяния Петра Первого» Голикова. Пушкин сказал:

— Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе... Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра, а Александрову — пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы на нас могли ссылаться.

Весь день Пушкин провел в Тригорском и только поздно вечером возвратился в Михайловское.

* * *

Работая над запиской о воспитании русского юношества, Пушкин понимал всю трудность своей задачи. От него требовали осуждения мятежников и указания средств, которые предотвратили бы мятежи в будущем. А может быть, правительство просто хотело распознать его истинные взгляды на нынешнюю политику, и тогда уж ему не ждать больше ни прощения, ни пощады. Тем не менее он смягчил официальную оценку последних событий.

«Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения», — писал он и уверял, что от этих заблуждений не осталось теперь и следа.

«Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья и товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей».

Из записки с неизбежностью вытекал вывод: «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия».

Пушкин завтракал печеным картофелем, который ему так вкусно приготовляла мамушка Арина Родионовна. В это время ему принесли письмо. Долго бродило оно, пока не нашло своего адресата. Пушкин сразу узнал почерк Дельвига.

«Поздравляю тебя, милый Пушкин, с переменой судьбы твоей. У нас даже люди прыгают от радости. Я с братом Львом развез прекрасную новость по всему Петербургу. Плетнев, Козлов, Гнедич, Сленин, Керн, Анна Николаевна — все прыгают и поздравляют тебя. Как счастлива семья твоя, ты не можешь себе представить. Особливо мать — она на верху блаженства. Я знаю твою благородную душу, ты не возмутишь их счастья упорным молчанием. Ты напишешь им...»

Да, это правда. Два с лишком месяца прошло с того дня, как он обрел свободу, но ни слова об этом не написал родителям в Петербург. Почему? Да просто потому, что он в последние годы совсем с ними не переписывался. Много обид накопилось у него в душе против отца, а мать ничего не сделала, чтобы смягчить положение. Вражда началась еще тогда, когда он был сослан из Одессы в Михайловское. Сергей Львович испугался, что и его может постигнуть опала. Он согласился даже на то, чтобы стать шпионом и следить за перепиской и разговорами сына. Взаимное раздражение довело их до открытой ссоры, в результате которой Пушкин написал губернатору Адеркасу просьбу, чтобы его перевели в крепость, потому что жизнь в деревне стала невозможной. Благодаря стараниям Прасковьи Александровны Осиповой прошение о крепости осталось неотправленным, но Пушкин в то время совсем не жил дома, а либо рыскал верхом по окрестностям, либо отсиживался в Тригор-

ском. К счастью, родители уехали вскоре в Петербург, и Пушкин зажил спокойно. Однако вражда к отцу не остыла. Теперь положение изменилось. Слава сына тешила самолюбие Сергея Львовича, но перед лицом света он был в ложном положении: о родном сыне он знал менее, чем кто-либо другой. Отец знаменитого поэта, сам поэт и любитель литературы, он получал сведения о сыне из посторонних рук.

Сергей Львович искал путей к примирению, но сам первого шага делать не хотел. Он писал лицемерные ханжеские письма брату, Василию Львовичу, в надежде, что тот ознакомит с ними Александра и уж заодно выступит в роли примирителя.

«Нет, добрый друг мой, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мной... Он совершенно убежден, что просить прощения должен я у него, но прибавляет, что если бы я решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал бы мне это прощение. Я еще ни минуты не переставал воссылать мольбы о его счастье и, как повелевает евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец, — так как он от меня отрекается, — то как христианин».

Таких писем Василий Львович получал много, но не решался показывать их племяннику. Но Пушкин и сам чувствовал, что примириться надо, что его отношения с семьей стали предметом пересудов и что следовало создать хотя бы видимость семейного согласия. Жалко ему было мать, хотя Надежда Осиповна не очень баловала лаской своего первенца. Любимцем и баловнем в доме был младший брат Левушка.

Однако все это не к спеху. И Пушкин снова принялся за почту. Обрадовал его нарядный конвертик, запечатанный розовым воском с отпечатком княжеской короны. Пахло от него знакомыми духами. Это Волконская звала его в Москву.

«Возвращайтесь к нам! — писала она. — Воздух Москвы легче. Великий русский поэт должен писать либо в степях, либо под сенью Кремля, и автор «Бориса Годунова» принадлежит городу царей. Какая мать зачала человека, гений которого — весь сила, весь — изящество, весь — непринужденность, который является то дикарем, то европейцем, то Шекспиром, то Байроном, то Ариостом, Анакреоном, но всегда русским, переходит от лирики к драме, от песен нежных, влюбленных простых, иногда грубых, романтических или едких, к важному и наивному тону строгой истории».

И в самом деле наступила пора возвращаться в Москву. Работа над запиской была окончена. Надо было думать и о печатании многих готских вещей.

Пушкин быстро собрался, распрощался с обитательницами Тригорского, расцеловал нянюшку и уехал. Но перед Псковом с ним случилась беда: коляска перевернулась, он ушиб грудь. Пришлось остановиться в псковской гостинице и звать местных лекарей. Те уложили Пушкина в постель и обещали скорое выздоровление, если больной будет послушным. Писать ему не запретили. И он тотчас принялся за письмо, от которого ждал изменения в своей судьбе.

«Дорогой Зубков, ты не получил письма от меня, и вот это-му объяснение: я сам хотел прилететь к вам, как бомба, сегодня, 1-го декабря, и потому выехал пять-шесть дней тому назад из моей проклятой деревни на перекладной в виду отвратительных дорог. Псковские ящики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать. Взбешенный, я играю и проигрываю. Но довольно об этом: я жду, чтобы, как только мне станет немного лучше, пуститься в дальнейший путь на почтовых. — Твои два письма прелестны. Мой приезд был бы лучшим ответом на возражения, размышления и т. д. Но раз уж я нахожусь в гостинице во Пскове, вместо того, чтобы быть у ног Софи, то поболтаем, т. е. станем рассуждать. Мне 27 лет, мой друг. Пора жить, т. е. познать счастье. Ты мне говоришь, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не мое личное счастье меня заботит — могу ли я не быть самым счастливым из людей, находясь близ нее — я дрожу только при мысли о судьбе, которая ее ожидает — я дрожу при мысли, что не смогу сделать ее настолько счастливою, насколько мне хотелось бы. Моя жизнь, доселе такая кочующая, такая бурная, мой характер — неровный, ревнивый, подозрительный, буйный и слабый одновременно — вот что дает мне минуты тягостного раздумья. — Следует ли мне связать с судьбой столь печальною, с характером столь несчастным — судьбу столь нежного, столь прекрасного существа? Боже мой, как она красива! И как смешно было мое поведение по отношению к ней! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести. Скажи ей, что я благоразумнее, чем выгляжу, а доказательства — что тебе в голову придет. Мерзкой этот Панин: два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе, — а я вижу раз ее в

ложе, другой на бале, а в третий сватаюсь! Если она находит, что Панин прав, она должна думать, что я сумасшедший — не правда ли? Объясни ей, что прав я, что хоть раз увидев ее, нельзя колебаться, что я не претендую увлечь ее собою, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что раз полюбив ее, невозможно любить ее больше, как невозможно с течением времени найти, что она еще более прекрасна, потому что более прекрасной быть невозможно. — Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настраждай ее Паниным скверным и жени меня. — А. П.»

Получив это письмо, Зубков улыбнулся, показал его жене и спрятал в потайной ящик письменного стола. Софье Федоровне решили о нем ничего не говорить. В доме шли приготовления к свадьбе, и невесте шили подвенечное платье.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СНОВА КРАМОЛА

СМИРНААА! Солдаты замерли на часах, офицеры вытянулись во фронт, генералы поднялись со своих кресел и, подтянувшись, повернули головы в ту сторону, с которой раздалась команда.

Вскоре слышались торопливые шаги, и великий князь Михаил Павлович проследовал в свой кабинет.

Огромного роста, рыжий и курносый, он был стремителен и порывист в движениях, как его отец, император Павел. За ним, точно соблюдая дистанцию в три шага, следовали по коридору два адъютанта. Один из них, долговязый гвардейский подполковник фон Остен-Сакен, широко распахнув дверь, стал сам в сторону, чтобы пропустить его высочество; другой же, полковник Гурьев, вошел в комнату вместе с великим князем и плотно прикрыл за собою дверь.

Михаил Павлович опустился в широкое кресло, крытое зеленым бархатом, поднял кверху маленькие, чуть прищуренные глаза, пошарил ими по стенам большой казенной комнаты, небрежно перелистал пальцами бумаги на письменном столе и вдруг выкрикнул хриловатым голосом:

— Барона Дибича!

Полковник Гурьев тотчас безмолвно скрылся за дверью.

Великий князь Михаил Павлович был назначен командовать отрядом гвардейского корпуса, отправленного в Москву на

время коронации. Опасались различных неприятностей, но коронационные торжества прошли без особых происшествий, государь был доволен исправкой всех гвардейских частей и поведением офицеров, которые очаровали московское общество. Ожидали наград и повышений в чинах. И на поди! Снова крамола, снова какие-то возмутительные стихи, и уж, конечно, снова сочинитель господин Пушкин.

Начальник Главного Штаба барон Иван Иванович Дибич был толстый генерал, криволицый и такой же рыжий, как великий князь. У него были большие умные глаза, но разговаривал он, не глядя прямо в лицо собеседнику, а либо потуплял их вниз, либо косил потупленными глазами по сторонам. Он был чем-то неуловимо похож на великого князя.

Вместе с Дибичем в кабинет вошел дежурный генерал Главного Штаба широкоплечий здоровяк, генерал-адъютант Потапов. Оба генерала были и чинами и по должности старше великого князя, по чину генерал-майора, по должности — командира корпуса.

Михаил Павлович немножко подумал, потом медленно и отрывисто произнес:

— Прошу садиться, господа!

Перед письменным столом ни кресел, ни стульев не было. Дибич и Потапов взяли себе по стулу из стоящих вдоль стены и спокойно уселись. Лица их выражали терпеливое ожидание.

— Что же это, барон, снова крамола? — начал великий князь. — И снова в лейб-гвардии? В конно-егерском полку и в конно-пионерном эскадроне? Только разделились с одним мятежом, как уж назревает другой. Доложите подробно, господин барон, кто они, эти офицеры, штабс-капитан Алексеев и прапорщик Молчанов, и что они там натворили.

— Как я уже имел честь рапортовать вашему императорскому высочеству в отношении от 25 сентября сего года, у служившего в лейб-гвардии в конно-пионерном эскадроне прапорщика Молчанова найдена копия с письма государственного преступника Рылеева и возмутительные стихи на 14 декабря 1825 года. Молчанов в отобранной от него расписке объявил, что сии стихи получил он от лейб-гвардии конно-егерского полка штабс-капитана Алексеева. Сей последний, не отвергая, что отдал оные Молчанову, не только не объявил в свое время сочинения сего начальству, как того требовал долг честного и верного офицера и русского дворянина, но при сделанном ему лично мною допро-

се не раскаивался в своем поступке и решительно не хотел от-крыть, от кого сам получил сии бумаги.

— А, может быть, он и в самом деле запомнил, от кого получил стихи и копию письма, не придавая сему важного значения?

— Так точно, ваше высочество, штабс-капитан Алексеев именно так объясняет свое поведение.

— А каков он сам, этот офицер? Как он прежде, до сего происшествия себя вел?

— Дурного до сих пор за ним ничего не замечалось, ваше императорское высочество. Мальчик из хорошей семьи, военной, верующей. Отец его, Илья Иванович, боевой генерал, бывший командир корпуса, участвовал в трех кампаниях, был многократно ранен и контужен, имеет георгиевские кресты 4-й и 3-й степени и Анненскую звезду. Нынче по причине тяжелого недуга числится в бессрочном отпуску по кавалерии. Сын его, штабс-капитан Александр Ильич, до сих пор был больше известен как светский повеса, любитель потанцевать и повеселиться, дамский угодник и в то же время дельный офицер, отлично, благородно проходивший службу. Никакого вольномыслия от него не ожидали ни начальники, ни сослуживцы.

— Почему же он молчит и не раскрывает первых распространителей возмутительных бумаг?

— Ума не приложу, ваше высочество! Уж мы с генералом Потаповым и так и этак с ним разговаривали, и просили, и грозили, и внушали, наконец, повезли его из тюрьмы в Старокопненский переулочек к больному отцу. Старик, как увидел нас, так едва душу богу не отдал. А потом опамятовался, понял, чего мы от него хотим, и стал помогать нам со всем усердием. Требовал, чтобы сын не позорил его на краю могилы, чтобы не ронял чести русского офицера, кричал, задыхался, наконец, пригрозил проклятием.

— Неужто и это не подействовало на упряма?

— Так точно, ваше высочество, подействовало. Молодой человек был очень расстроен, плакал даже, умолял отца простить его и верить, что он точно забыл, от кого получил стихи Пушкина. Что же касается до письма государственного преступника Рылеева, то штабс-капитан Алексеев утверждал, что письмо сие получено прапорщиком Молчановым не от него, ибо он, Алексеев, такого письма не имел, не читал и никому не давал с него копий. С тем и увезли его обратно в тюрьму.

— Что же вы теперь намерены предпринять?

— Остается одно, ваше высочество: отдать штабс-капитана Алексева под суд здесь же, при втором сводном кавалерийском полку гвардейского отряда с тем, чтобы суд был закончен с возможной поспешностью и непременно в продолжении трех дней.

Генерал Дибич встал, выпрямился и закончил громким голосом:

— Сообщая вашему императорскому высочеству сию высочайшую волю для зависящего об исполнении оной распоряжения, прошу покорнейше ваше императорское высочество по окончании суда над ним сообщить мне сентенцию оного с мнением вашего высочества для доклада государю императору лично или через генерал-адъютанта Потапова. При сем честь имею присовокупить, что штабс-капитан Алексеев содержится в здешнем тюремном замке.

«Так вот для чего Дибич явился ко мне вместе с Потаповым, хотя я звал его одного!» — с облегчением подумал великий князь, который во все время разговора никак не мог постичь причины прихода двух генералов вместо одного. Тогда же он уразумел и настоящую волю своего царственного брата: пресечь смуту быстро и в самом корне.

Впрочем, он и в этом ошибался. Намерений императора Николая он до конца не знал. Замыслы молодого царя и его приближенных были обширнее и сложнее: им нужно было действовать на умы всего русского общества.

* * *

В тот же день, 25 сентября, великий князь дал соответствующее предписание графу Алексею Орлову, который командовал сводной легкой гвардейской кавалерийской бригадой и лейб-гвардии сводным кирасирским полком.

С той же поспешностью, не теряя ни одного часу, была учреждена при втором сводном легком кавалерийском полку комиссия военного суда в составе презуса полковника барона Розена, шести ассессоров и производителя дел обер-аудитора 9-го класса Иванова.

26 сентября в 10 часов утра штабс-капитан Алексеев был доставлен из тюрьмы плац-адъютантом в комиссию, несмотря на то, что захворал: «Был одержим воспалением левого глаза и чувствовал слабость во всем корпусе».

На суде Алексеев повторил свои прежние показания:

«По нахождении моем в Москве точно получил оные стихи, но от кого не помню и без всякой определительной цели и намерения, в октябре или ноябре месяце. Стихи, отданные мною Молчанову, были написаны собственной рукой моей, но без подписи на 14 декабря, а письма преступника Рылеева мне вовсе неизвестны. Хранение стихов сих не считал тайною, а из содержания не предполагал и не предвидел ничего зловредного, ибо оные, как выше сказано, получены мною в октябре или ноябре месяце. Решительно оканчиваю клятвой, что не смею оклеветать других, ибо не помню, у кого выписаны оные были мною. Знаю, что подвергаюсь всей суровости законов».

Комиссия размышляла недолго. Все было предрешиено заранее. 29 октября подсудимому была объявлена сентенция:

«Комиссия нашла подсудимого штабс-капитана Алексева виновным в содержании у себя противу долга присяги и существующих узаконений в тайне от своего начальства и передаче другим таких возмутительных стихов, кои по содержанию своему, в особенности после происшествий 14-го декабря, совершено по смыслу злодеев, покушавшихся на разрушение общего спокойствия, в необъявлении в свое время сочинения сего начальству, как того требует долг честного и верного офицера и русского дворянина; и в упорном пред начальством и судьями сокрытии того, от кого получил те стихи; и за таковые учиненные им преступления, — на основании указов, состоявшихся в 31 день декабря и 21 день мая 1683 года, приговорила оного к смертной казни».

Старинные указы не имели к делу о стихах никакого отношения, но надо же было придать суровому приговору хоть какую-нибудь видимость законности.

В тот же день все производство было отослано к великому князю Михаилу Павловичу.

* * *

Генеральша Алексеева была женщина характера твердого. «Мы — солдатские жены, всего в жизни насмотрелись и всего натерпелись, нас ничем ни удивить, ни испугать нельзя!» — говорила она.

И в самом деле. Частые переезды всей семьей из города в город, постоянная тревога за мужа, который сражался то с

турками, то с французами, то со шведами, долгие ночи у его постели, когда раненый или контуженный, он на ее глазах боролся со смертью, — все это закалило характер Натальи Филипповны, научило ее спокойно и стойко переносить невзгоды.

И теперь, когда ее состарившийся муж лежал в своем кабинете на диване тяжело больной и лекаря не подавали больших надежд на скорое выздоровление, а старший сын томился в тюрьме и ждал суда — генеральша бодрилась и утешала себя мыслью, что лихая беда минет, непогода рассеется и наступит ведро. Муж оправится от недугов, сын очистится от неправых обвинений, и жизнь снова потечет гладко и ладно.

К Александру в тюрьму ее не пускали. Следствие и суд были окружены глухой тайной. Не зная ни движения дела, ни состояния сына, генеральша волей-неволей должна была терпеливо ждать конца событий. По опыту она знала, что у таких запутанных дел конец не скоро наступает.

По утрам у себя в спальне она, заплаканная и дрожащая, долго молилась перед образом, но потом подымалась с колен, одевалась, брала себя в руки и твердой походкой со спокойным лицом направлялась в кабинет к мужу. Кормила его, подносила лекарства и разговорами старалась отвлечь от мрачных мыслей о сыне.

А время шло. О судьбе Александра никаких новых сведений не было. Войска, пришедшие в Москву на коронационные торжества, стали расходиться на свои постоянные квартиры. То и дело приходили знакомые офицеры прощаться. Пришел и сослуживец Александра капитан Павлищев. Он сообщил, что конноегерский дивизион через два дня отправится в Новгород, где было местопребывание всего полка.

Посидев у постели больного положенное время, Павлищев встал и откланялся. Генеральша вышла в переднюю провожать гостя и, не утерпев, спросила, хотя и знала, что капитан не имеет права ей отвечать:

— Павел Иванович, почему об Александре так долго никаких вестей нет? Эскадрон уходит, а он как же? С собой возьмут или здесь оставят?

Павлищев посмотрел на нее с удивлением.

— Неужто вы, ваше превосходительство, ничего не знаете?

— Откуда ж нам знать-то, сидя дома? Тайна и тайна! Ни от кого толку не добьемся!

— Быть того не может!

— И не может, а есть. Щемит мое материнское сердце, чувствует беду.

— Нет, так нельзя, вы должны знать, вы можете помочь беде. Так уж и быть, возьму грех на душу, скажу вам всю правду, только вы меня не выдавайте.

Павлищев оглянулся по сторонам, наклонился к уху генеральши и прошептал:

— Была судная комиссия, была еще в конце сентября.

— Да говорите, не томите. К чему присудили?

— К смертной казни!

— Не может быть! Вы что-то путаете! Кто вам сказал?

— Тсс-тсс! Тише, не так громко, не губите меня! Я ведь вам открываю служебную тайну. Я вам верно говорю: приговор суда таков. Только это же еще не конец. Дело-то пойдет по инстанциям да по начальникам и закончится только у великого князя. Впрочем, решительную сентенцию положит сам государь. Так что может и обойдется. Но вы хлопочите, ваше превосходительство, хлопочите, не сидите сложа руки. Знаете, под лежащий камень и вода не течет.

— Где ж хлопотать-то? Ведь со мною по такому политическому делу никто и разговаривать не будет.

— Будут, матушка, ваше превосходительство, Наталья Филипповна, беспременно будут. Покуда офицеры нашего полка не разъехались, сходите завтра же к командиру, генерал-майору Слатвинскому. От него многое зависит. Да сказать вам он сумеет больше, чем я. Прощайте, ваше превосходительство, не вешайте головы. Авань обойдется. Такое ли в жизни бывает?

И капитан, поцеловав руку у генеральши, поспешил retirроваться. Он и не рад был тому, что дал волю своему языку. Одно обстоятельство капитан все же скрыл. Среди четырех асессоров, подписавших смертный приговор штабс-капитану Алексееву, находился и он сам, капитан Павел Иванович Павлищев, его сослуживец и друг.

* * *

Генеральша долго стояла в сенях потрясенная. Наконец, она очнулась от оцепенения. Как открыть мужу страшную правду? Не убьет ли она больного старика? А скрыть невозможно, невозможно долго таить в себе весть, что сыну грозит позорная казнь, спокойно говорить, улыбаться... Нет, муж скоро поймет обман, и тогда только хуже будет.

Наталья Филипповна направилась в кабинет и твердою рукою взялась за ручку двери. Будь что будет!

Однако ей не пришлось долго оставаться в нерешительности. Генерал сразу увидел на лице жены признаки сильного волнения.

— Что с тобою, мать? На тебе лица нет! Уж не наболтал ли тебе чего-нибудь худого про нашего Сашу этот пустобрех? Ох не люблю шептунов и переносчиков. В святцы не посмотрят, а уж звонят в колокола.

— Нет, Илья Иванович, не сплетня это, не досужая болтовня, а достоверное известие о нашем сыне, о несчастном Сашеньке. Павлищев сказывал, что суд уж был и вынес всем приговор. Только пока дело держится в секрете.

— А его высокородие выдал тебе служебную тайну? Ай да молодец! К чему же они присудили Сашу? К понижению в чине? К переводу в армию?

— Хуже.

— Неужто к разжалованию в солдаты?.. В каторжную работу?

— Хуже! Хуже!

— Что ты, мать, не к смерти же его присудили!

— Подлинно так, к смерти, к позорной смерти!

И генеральша разревелась, как простая баба. Слезы полились неудержимо, и она, забыв о больном муже, обо всем на свете, предалась своему безутешному материнскому горю.

Илья Иванович смотрел на жену некоторое время с сочувствием и с печалью во взгляде, да вдруг как расхохочется громким раскайстым смехом.

— Че-пу-ха-ха-ха! Че-пу-ха-ха-ха! Быть того не может! Че-пуха-с на постном масле! Чтобы русского офицера расстреляли за стихи, хотя бы и самого господина Пушкина, такого на свете не бывало и не будет никогда. Тогда что же они сделают с сочинителем этих стихов, с поэтом Пушкиным? Колесуют или четвертуют, что ли? А он, господин Пушкин, слышно, в милости у царя. Давно ли государь император его из псковской ссылки освободил и в Москву на коронацию вызвал. Все знают, что государь говорил с поэтом без малого два часа, обласкал, снял старую опалу и разрешил повсеместное проживание. Брат твой Филипп Филиппыч с знаменитым поэтом в старой дружбе состоит, вместе на юге служили, уж он-то нас бы предупредил по-родственному, чтобы мы опасались Пушкина и его стихов.

Значит, все обстоит иначе! Сейчас господин Пушкин на свободе под Новинским разгуливает, а других, значит, за его стихи на плаху поведут? Дудки! Чепуха! Утешься мать, утри слезы! Не знаю, сказал ли тебе всю правду болтливый капитан, только сам он не все раскумекал. Народ пугают, это возможно. Ну да ништо, мы теперь и без него все доподлинно разузнаем.

Наталя Филипповна, услышав громкий хохот мужа, сначала испугалась, подумав, уж не рехнулся ли с горя ее муж, но, прислушавшись к словам генерала, постепенно убедилась в том, что он дело говорит. Успокоилась, вытерла рукавом слезы и спростила своим обычным голосом:

— Так что же нам теперь предпринять, Илья Иванович? Неужто и дальше так сидеть сложа руки и ждать у моря погоды?хлопотать надо!

— Справедливо! Ждать не годится! Нынче промедление смерти подобно! Завтра же сходи в гвардейские казармы к Сашинному командиру полка генерал-майору Слатвинскому. Мы не успели еще с ним здесь познакомиться, ну да ничего. Он тебя примет, как подобает принять жену товарища по оружию.

— Вот и Павлищев то же советовал!

* * *

Когда генерал-майору Слатвинскому доложили о приходе генеральши Алексеевой, он не заставил ее ждать ни минуты и тотчас пригласил в тот самый кабинет, в котором сидел прежде великий князь Михаил Павлович. Только теперь перед письменным столом стояли два кресла. В одно из них командир любезно усадил посетительницу, а сам уселся напротив.

— Понимаю, ваше превосходительство, понимаю и от всей души сочувствую вашему горю. Верьте, что не мы в этом виноваты, а «голубые» мундиры. Из мухи слона сделали. Раздули пустяк до государственного преступления. Что с ними поделаешь? Грех да беда на кого не живет. Со всяким случиться может. От суммы да от тюрьмы не зарекайся. Сын ваш офицер дельный, толковый, исполнительный, мы его в обиду не дадим.

— Но ведь приговор...

— Ах, матушка, ваше превосходительство, что приговор! Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Мы — люди военные, а не канцелярские крысы, мы по-своему распоряжаемся. Так что потеряйте маленько, утро вечера мудренее. Не так страшен черт, как его малюют.

— Как же мне не горевать, генерал, когда над головою сына висит Дамоклов меч?

— Ан и не висит уже! Тот приговор, что вынесла судебная комиссия при нашем полку, можно считать, что и не существует, понеже дело пошло по инстанциям и сенция не утверждена великим князем Михаилом Павловичем. Напротив того, его высочество запросил у всех начальствующих лиц — командиров полков, дивизии и корпуса — их мнения по делу. Вот они, эти мнения, в черной папке.

Генерал взял со стола пухлую папку в черном кожаном переплете, приоткрыл ее, убедился, что бумаги именно те, которым надлежало там находиться, и снова положил ее на стол, но так, что папка очутилась прямо перед глазами Натальи Филипповны.

— По долгу службы не могу ознакомить вас с содержанием этой переписки, зане говорится в ней о судьбе политических преступников, однако смею заверить вас, что жизни вашего сына опасность не грозит и что в отношении его все окончится пустяками. Ах, простите, ваше превосходительство, принужден оставить вас одну на четверть часика, неотложное дело! Не взыщите, пскакчайте без меня, а я скоро возвращусь.

Генерал поднялся, прицелкнул каблуками, повернулся вполоборота и направился к двери.

— Без меня никого не пускать и не выпускать! — приказал он громко часовому.

Наталья Филипповна поняла. Не теряя времени, она взяла секретную папку, раскрыла ее, быстро нашла то, что касалось ее сына, и прочитала:

«Командир лейб-гвардии конно-егерского полка генерал-майор Слатвинский мнением полагал: подсудимого штабс-капитана Алексева выдержать шесть месяцев в крепости, а потом выпустить из гвардии тем же чином в армейские полки, на кавказской линии расположенные».

«Начальник дивизии генерал-адъютант Чичерин в отношении наказания штабс-капитана Алексева, соглашаясь с мнением генерал-майора Слатвинского, присовокупил...»

«Командир 1-го резервного кавалерийского корпуса генерал-адъютант Депперадович полагал: 1-ое. Подсудимому штабс-капитану Алексеву вменить тюремное заключение и теперешнее содержание на гауптвахте в наказание... и потом, включив из гвардии, отправить в Кавказский корпус в армию...»

«Командующий гвардейским корпусом великий князь Михаил Павлович полагал: хотя комиссия военного суда на основании узаконений приговорила штабс-капитана Алексеева к смертной казни, но его высочество, применяясь к монаршему милосердию, полагал выдержать его, Алексеева, один месяц в крепости и потом выписать из гвардии в армейские полки тем же чином...»

«Аудиториатский департамент, рассмотрев обстоятельства дела и все вышеприведенные мнения, совершенно согласился с мнением великого князя Михаила Павловича».

Дальше читать смысла не было. От сердца отлегло. Гроза прошла мимо. Наталья Павловна закрыла папку и бережно положила ее на письменный стол. Обернулась и на икону, висевшую в углу, и перекрестилась. Недолго спустя в кабинет вошел Слатвинский. Убедившись, что папка лежит не на том месте, где он ее оставил, генерал улыбнулся и про себя подумал: «Хорошо иметь дело с умными людьми!»

Наталья Филипповна не мешкая поднялась.

— Не смею больше беспокоить ваше превосходительство!

— Рад служить, матушка Наталья Филипповна, рад служить! Мой нижайший поклон супругу вашему!

Они расстались очень довольные друг другом.

* * *

Судьба штабс-капитана Алексеева была таким образом решена к его благополучию и к радости всей семьи. Однако цепочка, начавшаяся у добровольных доносителей и политических сыщиков, еще тянулась через ряд лиц, инстанций и учреждений. Из Комиссии военного суда дело поступило в Аудиториатский департамент, оттуда перешло в Сенат, из Сената в Государственный Совет и, наконец, к государю на утверждение.

И хотя император Николай хорошо знал, что стихи, о которых шла речь в судебном деле Алексеева и Молчанова, представляют собою отрывок из элегии Пушкина «Андрей Шенье», что элегия эта была не только написана, но и напечатана в сборнике стихотворений знаменитого поэта задолго до событий 14 декабря, что сам Пушкин не совершил никакого преступления, — однако он не препятствовал обычному ходу судебного дела. Ему важно было еще установить, кто же сделал надпись «На 14-ое декабря», то есть кто осмелился назвать его убийцей, а его приближенных — палачами.

Стихи, за которые людей держали в тюрьмах и даже готовы были послать на виселицу, были написаны на желтой четвертушке бумаги и содержались в толстом конверте, запечатанном казенными сургучными печатями, так что даже судьи не могли их прочитать. Всем прикосновенным к делу лицам надлежало отвечать об «известных стихах».

Стихи действительно были известны многим, потому что давно разошлись по рукам во множестве списков. Это был восторженный гимн свободе:

Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило;
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Рассеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластия бестрепетный ответ;
Я зрел, как их могучи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный пантеон
Святых изгнанников всходили славны тени;
От пелены предрассуждений
Разсблачался ветхий трон.
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозглашал равенство.
И мы воскликнули: «Блаженство!»
О горе! О безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор!
Мы свергнули царей? Убийцу с палачами
Избрали мы в цари! О ужас! О позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая! Нет, не виновна ты:
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа —
Сокрылась ты от нас. Целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой...
Но ты придешь опять со мщением и славой —
И вновь твои враги падут.
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Все ищет вновь упиться им;

Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим...
Так он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет,
И буря мрачная минет.

Но если император знал, что автор вдохновенного призыва к свободе — Пушкин, то Бенкендорф со своей стороны был давно уже осведомлен о том, кто были распространители крамольных стихов.

Кандидат словесных наук Московского университета А. Ф. Леопольдов уже давно послал донос на Пушкина и на тех, кто хранит и распространяет стихи, в которых «народ призывается к мятежам и ужасам», где проповедуется свобода. «Да постигнет сочинителя сих стихов справедливый гнев правительства и кара законов! Он давно достоин сей мзды!» — восклицал верно поданный доносчик.

Однако не даром говорит русская пословица: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь!» Леопольдов, получив от Молчанова крамольные стихи, не ограничился тем, что донес о них начальству. Он решил поставить точку над «и», уточнив, в чем именно преступность пушкинской элегии. И сделал надпись, которой раньше не было: «На 14-ое декабря». Леопольдов даже ставил себе в заслугу это обстоятельство и объяснил суду: «Надписи «На 14-ое декабря» не было, я поставил оную в соответствии содержания оных». И в другом месте уточнил: «Приписка сверху «На 14-ое декабря» сделана мною без всякого другого намерения, кроме того, что они, как заметно, изображают историю 14 декабря 1825 года».

И на старуху бывает проруха! В порыве холопского усердия Леопольдов даже не заметил, какой приговор он вынес русскому самодержцу и его верным слугам. Но они это поняли и не простили ему. Поэтому-то и царь, и Бенкендорф, не говоря уже о Фон-Фоке, умыли руки и не стали вмешиваться в ход дела, когда комедия суда над усердным доносчиком шла установленным порядком.

Судебная комиссия приговорила: «Отдать Леопольдова в солдаты, а в случае негодности, сослать в Сибирь». А он-то ждал заслуженной награды!

С Пушкиным так расправиться было невозможно. Однако можно было время от времени тревожить его прикосновенностью к «политическому делу».

Великий князь Михаил Павлович предложил «истребовать от сочинителя стихов А. Пушкина показания, его ли действительно известные стихи, с какою целью им сочинены и кому от него переданы».

Государь знал мнение великого князя и не препятствовал, чтобы оно было выполнено, хотя нужды в этом никакой не было.

Пушкин в это время находился во Пскове. Поэтому на имя псковского гражданского губернатора Комиссия военного суда отправила секретное отношение, в котором просила его превосходительство господина Адеркаса об отобрании от Пушкина вышеозначенного показания и о доставлении такового в сию Комиссию со всевозможной скоростью.

Однако бумага запоздала. Пушкин покинул Псков и отправился на перекладных в Москву, где его ожидали восторги поклонников, журнальные схватки, литературные споры и надежда на счастье. В столицу прибыл он 12 января, то есть в Татьянин день, когда по обычаю праздновалась годовщина основания Московского университета. Остановился на этот раз прямо у Соболевского и, узнав, что в Москве находится его старый друг князь Петр Андреевич Вяземский, поспешил к нему.

Встретила Пушкина княгиня Вера Федоровна, с которой Пушкин часто встречался в Одессе.

— Пушкин! Вот не ждала! И муж ничего не говорил о вашем скором приезде! Поспешили вернуться, потому что после столицы деревня не мила стала?

— Долго рассказывать! Скажите лучше, понравились ли вам поясы, что я из Торжка прислал?

— Очень понравились. Один и сейчас на мне.

Сафьяновый пояс, шитый золотом и серебром, очень украшал изящное платье княгини.

— Вы бы хоть поцеловали меня за мой подарок и по случаю встречи после долгой разлуки, княгиня Вертопрахина! Если только поблизости нет мужа!

— А муж мой и так все про меня знает.

— Неужто все?

— Представьте себе, решительно все!

— И вы дали ему ключ к нашей переписке?

— Само собою!

— А я-то старался придумывать намеки один другого искуснее! Жаль, очень жаль! Приятно сроднать друга, но только не так, чтобы он знал об этом от своей жены. Да где же князь?

— В Сандуновских банях. Подождите его.

— Нет, уж лучше я его там разыщу.

Пушкин поцеловал у княгини руку и, не мешкая, отправился в баню. Князя он нашел на верхнем полке дворянского отделения, разделся, полез к нему и там впервые после долгих лет разлуки друзья поцеловались.

— Ты почему же так скоро из Москвы уехал и меня не дождался? — спросил Вяземский.

— Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление. Деревня пришла мне как-то более по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Няня моя уморительна. Вообрази, что в семьдесят лет выучила наизусть молитву об умилении сердца владыки и об укрощении духа его свирепости, молитву, вероятно, сочиненную при царе Иване.

— Понимаю тебя. Я — москвич, но не хотел возвратиться в Москву на коронацию. Признаюсь, я норовил к шапочному разбору, а не к прибору мономаховой шапки.

— Отчего бы тебе не уехать в чужие края? Чаадаев только что вернулся из длительного путешествия и нахвалиться не может. Не говорю уже о Лондоне и Париже, но, кажется, в любом городке Италии или Германии можно чувствовать себя больше европейцем, чем даже в Петербурге. Я бы с радостью убежал туда, но, увы, меня не пустят.

— При малейшей возможности я вырвусь из России и надолго. Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена... мне в ней все нетерпимо. Я не могу, я не хочу жить спокойно на лобном месте, на месте казней. Сколько жертв, и какая железная рука пала на них! Ни об чем говорить не хочется, в душе одно чувство, в уме одна мысль: оставляю их с тем, чтобы это кровавое чувство, эта кровавая мысль запеклась бы для меня одного. В отношении к мятежникам одна жестокость и никакой справедливости. Казни и наказания несоизмеримы преступлениям, из коих большая часть состояла в одном умысле. Прошу тебя, довольно об этом. Расскажи лучше, что ты в деревне делал, чай предавался вольному вдохновению?

— Куда там! В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение и не лезло. Да и уехал я главным образом потому, что царь хотел знать мое мнение о народном воспитании. Надо было уединиться, обдумать. Не на «съезжей» же у Соболевского писать о таком предмете!

— Ну, что же, написал?

— И написал, и отдал. Да все не то, что им надо. Не угодил. Мне легко было написать то, чего хотело правительство. Однако не надо пропускать такого случая, чтобы сделать добро. Между прочим, я сказал, что надо подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову. Очень мило, очень вежливо, но вымыли.

— А теперь мы сами себе вымоем головы и поедem восwoяси! — засмеялся Вяземский. Сегодня Татьяна пьяная, мы празднуем ее, как вы лицейскую годовщину, и меня ждут во многих местах.

* * *

Жизнь у Соболевского протекала по-прежнему безалаберно и бестолково: картежная игра, продолжительные обеды, утомительные ужины, цыганское пение и неизбежные светские визиты. Писать удавалось урывками, о серьезной же работе и думать не приходилось.

Как-то вечером, когда Пушкин собирался со двора, Соболевский сказал ему:

— Чуть не забыл. Тут за тобою раза два квартальный надзиратель приходил. Требовал, чтобы ты незамедлительно, завтра же, явился в канцелярию московского обер-полицмейстера по самонужнейшему делу.

— Что ему нужно от меня?

— Не знаю. Не у квартального же спрашивать! Ты у себя спроси! Не напроказил ли? Может быть, побил какого-нибудь квартального? Вы с Дельвигом когда-то так развлекались.

— Темпи пассати. Давно это было. Ладно, коли еще раз спросит, скажи, что приду.

* * *

Московский обер-полицмейстер генерал-майор Шульгин 2-й с удивлением вертел в руках плотный конверт, покрытый печатями с крупной надписью в правом углу: совершенно секретно. Перед ним на столе лежало отношение Комиссии военного суда, в котором ему предписывалось отобрать от сочинителя А. Пушкина показания о том, им ли сочинены известные стихи, когда, с какой целью они сочинены, почему ведомо ему стало намерение злоумышленников, в стихах им изъявленное, и кому от него сии стихи переданы.

Между тем, никаких стихов в присланных бумагах не было. Они находились в конверте, но вскрывать этот конверт московский обер-полицмейстер не имел права, а должен был передать в неповрежденном виде сочинителю Пушкину. Но как же допрашивать сочинителя об его сочинении и самому не знать этого сочинения?

— Придумают же такое судейские крючки! И чего пугаются, умники! Кому надо, тот давно эти стишки наизусть утвердил!

Наконец в канцелярию вбежал, запыхавшись, квартальный надзиратель и восторженно зашептал:

— Приехали, ваше превосходительство! Господин Пушкин приехали! Саночки у них махонькие, а конь, орловский рысак, вороной, огромный. Так и перебирает ногами, так и перебирает. Что ни шаг, то сажень. А полость на саночках медвежья, а воротник на шубе бобровый, отликает сединой, как серебром. Богатый выезд!

Вслед за квартальным надзирателем в канцелярию вошел Пушкин. Он был в своем модном фраке, узких брюках со штрипками и лакированных штиблетах. На безукоризненно отглаженном и накрахмаленном жабо сверкали бриллиантовые запонки.

— Здравствуйте, генерал! Вы меня звали? Чем я заслужил честь?

Без дальних слов московский обер-полицмейстер усадил молодого франта за свой письменный стол, дал ему бумагу, перья, вручил конверт и сказал:

— Прошу вас, господин Пушкин, здесь же написать ответы на вопросы, изложенные в сем отношении Комиссии военного суда.

Пушкин понимающе кивнул головою, спокойно взломал печати на конверте, вынул желтый листок и стал внимательно читать стихи. Читал и недовольно морщился. В них обнаружилось ошибки. Так в стихе «Я славил твой небесный трон» он исправил «трон» на «гром». В стихе «И пламенный трибун изрек от страха полный» он написал «предрек восторга полный». И наконец, в стихе «он бредит, жаждою томим», Пушкин зачеркнул в слове «бредит» букву «е» и написал «о» — «бродит». Только после этого он принялся за ответы на вопросы Комиссии. Пушкин писал и злился. Сколько раз надо объяснять этим олухам одно и то же!

— «Стихи сии действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии «Андрей Шенье», напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений. Они явно относятся к Французской революции, коей Шенье погиб жертвой. Он говорит:

...Я славил твой небесный гром,
Когда он разметал позорную твердыню...

Взятие Бастилии, воспетое Андреем Шенье.

...Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластия бестрепетный ответ...

Присяга du jeu de paume, ответ Мирабо *alle dire à votre maître etc*

«И пламенный трибун и проч.»

Он же Мирабо.

«Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени».

Перенесение тел Вольтера и Руссо в Пантеон.

«Мы свергнули царей...»

В 1793 году.

«Убийцу с палачами
Избрали мы в цари».

Робеспьера и конвент.

Все сии стихи никак, без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное заглавие. Не помню, кому мог я передать мою элегию А. Шенье.

Александр Пушкин.

27 января 1827 года. Москва».

Перечитал и раздраженно подумал: «Неужели и теперь эти олухи не поймут?»

И на всякий случай дописал:

«Для большей ясности повторяю, что стихи, известные под заглавием «14 декабря», суть отрывок из элегии, названной мною «Андрей Шенье».

Объяснения Пушкина вместе с желтым листком, на котором были стихи, обер-полицмейстер, не читая их, сам вложил обратно в конверт и, разогрѣв сургуч, сначала приложил к нему казенную печать, а потом попросил Пушкина сделать на другом сургучном круге оттиск перстня, который висел у поэта на золотой цепочке.

Пушкин охотно выполнил просьбу любезного генерала.

— Не смею больше вас задерживать, господин Пушкин!

— Имею честь откланяться!

Когда Пушкин вышел из кабинета, квартальный надзиратель доверительно зашептал своему начальнику:

— В канцелярии московского военного губернатора служит тоже знаменитый поэт, поляк, господин Мицкевич. Так даже и сравнить их невозможно. Куда ему до нашего! Как говорится: «Косой-то ты косой, да только не заяц!»

А московский обер-полицмейстер раскрыл недавно полученный им на новый 1827 год «Список картежных игроков и шулеров» и отметил в нем за № 99 — «Пушкин Александр Сергеевич — сильный игрок в штосс. И банкومت».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА



ВАДЬБУ Софьи Федоровны Пушкиной с Валерианом Александровичем Паниным отпраздновали скромно в семейном кругу. Венчание происходило в церкви Малого Вознесения на Большой Никитской улице. Церковным старостой там был князь Петр Андреевич Вяземский. Он позаботился о том, чтобы храм был нарядно освещен, чтобы пел архиерейский хор, чтобы служило четыре священника в новых дорогих ризах, чтобы весь ритуал венчания проходил с торжественностью и роскошью, доступной небогатой паре.

Софья Федоровна хотела пригласить Пушкина, чтобы он был ее шафером, но Зубков отговорил свояченицу от ее жестокого намерения. Держать венец над головой любимой девушки, когда она выходит замуж за другого — такое испытание не всякому под силу! Довольно и того, что поэт будет присутствовать на венчании в качестве гостя.

По окончании обряда молодые отправились к дяде невесты, князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, московскому военному генерал-губернатору. Их сопровождали родные и несколько особо приглашенных гостей, среди которых были Пушкин, князь Вяземский с женой и Соболевский. Угощение было роскошное, но пировали недолго. Выслушали тосты, выпили за здо-

ровье и счастье новобрачных, пошутили, потанцевали, и госпожа Панина с супругом отбыла на свою новую квартиру при московском Вдовьем доме, где Валериан Александрович назначен быть смотрителем.

Больно было Пушкину провожать полюбившуюся ему девушку в новую жизнь и желать ей счастья с соперником. Но когда свершилось то, чего поэт ожидал с тревогой и со скорбью, он почувствовал в глубине души какое-то облегчение. Время ли теперь для спокойной семейной жизни? Мог ли он с чистой совестью сказать, что обеспечит своей жене средства, необходимые для безбедного существования, что создаст ей прочное положение в свете? Не придется ли ему снова скитаться и снова испытывать нужду и лишения? Что с того, что он не замешан в декабрьском заговоре, когда за ним и без того тянутся нити других обвинений, за которые, быть может, придется отвечать не меньше, чем за мятеж?

Когда Пушкин через несколько дней навестил Зубковых, ему показалось, что отсутствие в доме Софьи Федоровны совсем не чувствуется. Как всегда, откушали пятчасовый чай, хозяйничала Анна Федоровна, а потом она ушла в детскую. Пушкин с Василием Петровичем расположились в кабинете и там начали дружескую беседу.

Пушкин улегся на маленьком диване, подложил под голову подушечку-думку, свернулся калачиком и чуть не задремал, но Зубков присел около него, как врач около больного.

— Ну, рассказывай, друг, что делал в материнской деревне? Как тебя встретили тригорские барышни? Как проводил досуг? Что нового привез?

— С каким чувством я вернулся в мое тихое Михайловское, ты можешь судить по первым стихам, которые я написал, как только очутился под родным кровом:

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубравы
На берега сих молчаливых вод.

Стихи эти относятся к одному незавершенному замыслу, который возник в деревне, но в них есть немного и от моего сердца. Приехавши домой, я узнал, что один местный помещик соблазнил крепостную девушку, а сам вознамерился жениться на барышне из своего круга. Несчастная была брюхата и на свое

горе любила своего соблазнителя. Не выдержав позора и предстоящей разлуки, она бросилась в реку. Получился сюжет вроде «Днепровской русалки» Краснопольского. Однако я думал обработать его в духе народных сказаний. Подробнее рассказывать пока не стоит.

— И это были все твои литературные занятия?

— Нет, конечно. Время мое проходило, главным образом, в том, что я рылся в семейных архивах, разыскивал разные грамоты, записи и донесения, перечитывал «Историю» Карамзина, а уж заодно знакомился с «Деяниями Петра Великого», благо под рукой оказалась книга Голикова.

— Занятия историей теперь больше ко времени, чем когда бы то ни было. Недавние события дают благодарный материал для размышлений. Чтобы предвидеть будущее, надо знать прошлое. Кому же, как не тебе, занять опустевшее место Карамзина?

— Сделаю все, чтобы оказаться достойным великого русского историографа. Однако, чем больше вчитываюсь в страницы его повествований, тем больше встречаю там моих предков, так что для меня развиваются не только события истории государства российского, но и семейная хроника бояр Пушкиных.

— Надеюсь, что ты ради родовой спеси не изменишь беспристрастию.

— Слаб человек, а соблазн велик. Предки мои были участниками всех важнейших дел в истории России, которую они любили больше жизни. Уже при Александре Невском мой пращур, Гаврило Олексич, во время Ледового побоища «сделал честно свое дело», то есть храбро сражался с псами-рыцарями. Правнук его был первым русским артиллеристом и назывался Григорием Пушкой. От него пошли все Пушкины: и Мусины-Пушкины, и Бутурлины-Пушкины, и просто Пушкины. Мужественные военачальники, искусные дипломаты, мудрые советники царей, строители крепостей и флотоводцы. Пушкины могли бы стоять на вершине государственной лестницы, если бы не дух своевольства и упрямства, который им часто мешал.

Один из Пушкиных подписал грамоту об отмене местничества. Шестеро Пушкиных поставили свои подписи под грамотой об избрании на царство Михаила Федоровича Романова, да двое за неграмотностью руку приложили. Стольник Федор Матвеевич Пушкин был сторонником царевича Алексея и участвовал в заговоре Соковнина и Цыклера, за что и был повешен Петром. Мой родной дед, Лев Александрович Пушкин, будучи

командиром бомбардирской роты, неудачно пытался удержать преображенцев от перехода на сторону ангалт-цербской принцессы, которая при живом муже, императоре Петре Третьем, без всякого права захватила русский престол. За это дед мой был заключен в крепостной каземат, провел там два года, а потом был сослан в родовую вотчину без права въезда в столицы. С него-то и началось оскудение нашего рода.

Пушкин замолчал, но видно было, что его волнует еще какая-то мысль, важная и нужная, однако высказать ее он не решается. Что-то мешает. Он поднялся с дивана и заходил по комнате. Наконец подошел к Зубкову, положил ему руки на плечи и сказал тихим смущенным голосом:

— В хронике моих предков можно отыскать еще одну важную черту, общую как для Пушкиных, так и для Ганнибалов, все они были очень несчастливы в семейной жизни.

Пушкин походил еще немного по кабинету и продолжал:

— Первая жена моего деда, Льва Александровича, о котором я только что упоминал, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую связь с французом, бывшим учителем ее сыновей, а самого француза дед весьма феодально повесил на воротах черного двора.

Основатель рода Ганнибалов, крестник Петра Ибрагим, женился на дочери капитана галерного флота Андрея Диопера—Евдокии. Девушка не любила Ибрагима. У нее был возлюбленный, флотский поручик Кайсаров. Евдокия не смела перечить отцовской воле и вышла замуж за моего предка, но перед свадьбой она отдалась Кайсарову. Ганнибал увез жену в Пернов, но и там она не осталась ему верна и сошлась с его подчиненным, кондуктором Шишковым. Можно было бы написать увлекательный роман о том, как боролась за свободу своих страстей несчастная женщина и как мстил ей за это оскорбленный и озлобленный муж. Он пытал жену, вдевая ей руки в кольцо, привинченное к стене, бил розгами, прутьями и палками, мучил и другими разными способами, содержал пять лет в заключении на Воспитательном дворе среди женщин, осужденных за непотребство и блуд. В конце концов, не дождавшись ни ее смерти, ни формального развода, женился вторично на дочери капитана перновского полка Христиане Шерберг. Та тоже ненавидела навязанного ей мужа и говорила: «Шорна шорт делат мне шорна ребят». Историческим фоном для романа служила бы эпоха

Петра, великого преобразователя нашей родины. Я уж подумывал об этом сюжете и кое-что набросал. Образы Петра и его сподвижников, а среди них и наперсника Ибрагима Ганнибала, не должны быть обойдены в нашей словесности.

— Ты прав, дорогой друг! О Петре нужно больше писать, особенно в нынешнее царствование. Нужно, чтобы император Николай Павлович взял себе за образец своего великого предка. А кто может подсказать ему это лучше, чем ты? Судя по тому, что царь спрашивает у тебя совета о народном воспитании, можно думать, что он и впредь не откажется выслушать твое суждение по другим важным государственным вопросам. Значит, тебе надо готовиться к тому, чтобы стать советчиком царя и направлять его волю в нужную сторону.

— Не имея чина тайного советника, я должен стать потаенным советником, так, что ли? — пошутил Пушкин. — Ин быть так! Не знаю дела более важного, чем участь наших товарищей и братьев, томящихся в мрачных пропастях сибирских рудников. Я хотел бы поддержать в них бодрость духа, сознание, что их дело не пропадет, что страдания их не тщетны. И в то же время я всеми силами стремлюсь умягчить царский гнев и сколько возможно облегчить участь осужденных.

Беда в том, что царь поступил очень хитро. Он уверял сначала, что его милосердие изумит Европу. А теперь стоит на том, что он уже облегчил участь мятежников. И в самом деле. Верховный Уголовный Суд приговорил к смерти 36 человек, а он приказал казнить только пятерых. Всем другим сроки каторги и ссылки на поселение уменьшены, а некоторым совсем заменены сдачей в солдаты. Чем это не амнистия? Чего еще могут требовать в Европе от монаршего милосердия? А того не ведают, что первый-то приговор не Верховным Судом выдуман, а продиктован им же, подлинным и единоличным судьей, следователем и палачом обвиняемых. Потому-то и вынесен такой ни с чем не сообразный по жестокости приговор, чтобы возможно было смягчить его без ущерба для самодержавной мести. Нет, я не жду ничего хорошего от царствования, которое началось таким кровавым судилищем.

— И Петр начинал казнию стрельцов.

— Разве можно сравнить буйную ватагу, которая потрясала государством ради своих мелких выгод, с нашими бескорыстными мучениками идеи, с борцами за свободу от самовластия и от крепостной неволи? Их действия были продиктованы любовью

к отчизне и к простому народу. Они продолжали дело Петра, остановленное его бесталанными преемниками. Сошлюсь на безграмотную Елизавету или жестокую Анну Иоанновну. Что они сделали с Россией? Отдали ее на поток и разграбление своим любовникам, да еще иностранцам, как Бирон.

— В этом с тобою согласен. Петр Великий не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу. Аристократия после него неоднократно замышляла ограничить самодержавие. К счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления оставался неприкосновенным. Если бы замыслы Долгоруких и прочих совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство, нынче же политическая свобода наша неразлучна с освобождением крестьян. Желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла.

Приход Анны Федоровны прервал их разговор.

— Помоги мне, Василий Петрович, выкупать Оленьку. Вез Софочки мне одной не справиться, а слугам я не доверяю. Александр Сергеевич тебя извинит и подождет.

— Иди, иди, друг, помогай жене, а мы договорим после — поддержал хозяйку Пушкин.

— Тебе бы лучше пойти! — шутя отозвался Зубков. — Знал бы, каково детей растить!

— Охотно бы пошел, только вы меня сами до такого свяшеннодействия не допустите!

— Скоро, скоро дождешься своих младенцев, тогда и будешь их купать!

И Зубков с женой поспешили в детскую.

Оставшись один, Пушкин уселся за письменный стол, взял гусиное перо и стал его обкусывать. Отбросив испорченное, взял новое, тонко очиненное и стал медленно писать. Изредка подымал глаза кверху, как будто вспоминая то, о чем только что шел спор с Зубковым. Писал долго, зачеркивал, вставлял сверху новые слова, потом переписал начисто, но черногого листа не уничтожил, а бережно спрятал в карман. Когда Василий Львович наконец освободился и вошел в кабинет с влажными красными руками, Пушкин протянул ему листок и сказал: «Вот тебе мой ответ! Прочитай!»

Зубков обтер руки досуха и взял бумажку.

СТАНСЫ

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен:
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

— О Петре хорошо, очень даже хорошо, превосходно! — сказал Зубков. — А вот строчка: «Семейным сходством будь же горд» отдает придворным реверансом.

— Так и быть должно! На все свои правила приличия. Есть же разница между российским самодержцем и армейским прапорщиком. Если ты на рауте наступил на ногу иностранному дипломату, ты, конечно, вежливо извинишься, но если ты под качелями толкнул московского лавочника, не скажешь ты ему: «миль пардон!»

— А не ты ли давеча говорил мне про императора Николая Павловича, что в нем больше прапорщика, чем Петра Великого?

* * *

Сердечная рана Пушкина исцелялась в семье Ушаковых. Он бывал там запросто, как только выдавалась свободная минута. Иногда попадал к обеду, иногда заходил с утра по дороге па прогулку, а чаще вместе с молодежью веселился по вечерам.

Екатерина не скрывала предпочтения, которое она оказывала Пушкину перед другими молодыми людьми, посещавшими их дом. Родители не мешали ее сближению с поэтом. Бывало, что

Пушкин вдвоем с Екатериной ходил по модным и книжным лавкам на Кузнецком мосту, давая этим пищу для злословия досужим сплетницам, бывало, что они одни прогуливались по аллеям Хорошовского Серебряного Бора, отдыхали на берегу Москвы-реки, а то уезжали в Останкино, чтобы полюбоваться дубовыми рощами вокруг усадьбы Шереметевых.

Знакомая им барышня Елизавета Сергеевна Телепнева писала подруге в деревню: «По-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить Екатерине Ушаковой судьбу жизни своей... Это общая молва. Я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве, только и занимался, что Ушаковой: на балах, на гуляньях он говорил только с ней, а когда случалось, что в собраньи Ушаковой нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уж не в силах развлечь его».

Общая молва доходила, конечно, до ушей Софьи Андреевны и Николая Васильевича Ушаковых, но они не торопили событий и доверяли дочерям. А дочери не имели тайн друг от друга. Елизавета знала, какую роль в жизни старшей сестры играл Пушкин, и сочувствовала ей. Она сама любила Киселева. Как водится среди молодежи, они подшучивали одна над другой, поддразнивали друг друга, в этом им помогали гости, но шутили без злобы, и в доме создавалась веселая, добродушная, оживленная атмосфера.

Ареной взаимных шуточных сражений чаще всего служили альбомы обеих сестер. Под впечатлением от свадьбы Паниных Пушкин рисовал князя Вяземского в виде церковного старосты с колокольчиком в одной руке и с тарелкой для сбора добродетельных даяний в другой. Елизавету он изобразил в дамском чепчике и в очках перед пюпитром. Кругом котят, Елизавета намекается петь, а на пюпитре сидит возлюбленный кот — Киселев — и дирижирует лапкой. Кот, кошка, котята — все шло от первого слога фамилии Киселева, которым дразнили Елизавету: кис-кис-кис!

Среди светских развлечений в часы досуга Пушкин все больше посвящал Екатерину в свои литературные дела. Рассказывал о своих журнальных стычках, высказывал свои мнения о новых книгах, выходивших из печати, делился своими планами и замыслами, давал читать свои рукописи, прежде чем посылать их к цензору.

Особенно много они говорили об «Онегине», так как Пушкин намеревался выпустить в свет одновременно четвертую и пятую

главы. Замечания Екатерины, умные и неожиданные, порой заставляли поэта задумываться и менять прежние решения.

— Вы пишете, — сказала как-то Екатерина после знакомства с четвертой главой:

Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй...
Вот жизнь Онегина святая.

Какая же это святая жизнь? Хотя вы и утверждаете, что «Онегин жил анахоретом», то есть отшельником, однако анахоретам не полагается целоваться с черноокими белянками. Кстати, белянка-то, очевидно, была крепостная...

— Почему вы это заключаете?

— Потому что иначе вам пришлось бы описать новый роман вашего знатока науки страсти нежной с какой-нибудь соседней барышней.

Как художник Пушкин был прав. Онегин жил в деревне так же, как жила в ту пору лучшие молодые люди. С точки зрения светской морали такое поведение не считалось предосудительным для мужчины. «Быль молодцу не в укор!» — говорили в старину. Но как объяснить юной девушке изнанку жизни, которой она еще не ведаёт!

— Не придирайтесь к этому стиху!

— За что ему такая милость?

— Признаюсь вам откровенно, стих не мой, он украден у Андрея Шенье.

— Что нужды? Читателю все равно, переводными или оригинальными стихами вы рисуете дурные поступки своего героя. А вы, поэт, мало того, что выставили Онегина в дурном свете, но еще и хвалите его за это.

И через несколько минут Пушкин был нарисован в альбоме рукою Екатерины в виде послушника в клобуке и рясе.

— На мой взгляд, — говорила Екатерина, перелистывая страницы «Онегина», — нет ничего отвратительнее старой девы. Это бич человеческого рода. Но уж если бы я осталась в старых девах, я бы тоже жила, как прочие.

— А как же? Любопытно!

— Могу вам описать. Слушайте. Проходят годы. Я старею, глупею и дурнею. Наконец делаюсь спелым дополнением старым московским невестам, о которых говорят: «Девушка невестится, а бабушке ровесница». Я надеваю круглый чепчик, замасленный шлафор, разодранные башмаки, которые сваливаются

с пяток, нюхаю табак, браню и ругаю всех и каждого, хожу по богомольям, не пропускаю ни обедню, ни вечерню, от монахов и попов в восхищении, играю в вист или бостон по четверти, разговору более не имею, как о крестинах, свадьбах и похоронах, бью каждый день девок по щекам, в праздничные дни румянюсь и сурмлюсь, по вечерам читаю Четьи-Минеи или Жития святых отцов, делаю тридцать четыре манера гран-пасьянсу, переносу вести из дома в дом, не нахожу ни одной хорошенькой, по средам и пятницам ем постное, перед обедом и ужином пью по рюмочке ерофеичу и, наконец, при всякой трогательной встрече заливаюсь горькими слезами.

— Это же прелесть! — воскликнул восхищенный Пушкин. — У вас положительно дар описывать. И живо, и верно, и уморительно смешно!

Он бросился целовать девушке руки, но Екатерина его спокойно отстранила: наедине с поэтом она держала себя строго и сурово.

* * *

Кончалась масленая неделя. Прошел широкий четверг, пятница — тещины вечерки и суббота — золовкины посиделки. А на воскресенье в московском Благородном собрании назначен был маскарад. Молодежь веселилась. Пусть после масленицы великий пост, зато за страстною — Пасха.

Ушаковы готовились к маскараду дружно всей семьей. Решили, что особых костюмов выдумывать не будут, а просто все наденут домино: Екатерина — голубое, Елизавета — розовое, мужчины — черное. Отец и мать ехать не собирались, потому что Николай Васильевич прихварывал. Наконец наступил назначенный день. Поздно вечером, когда Екатерина и Елизавета заканчивали последние приготовления, дверь в их комнату приотворилась, чья-то рука в черной перчатке отодвинула портьеру, и мужская фигура в костюме алжирского астролога проскользнула и остановилась перед оторопевшими девушками. Черный длинный плащ и остроконечная шапка были усеяны звездами. Из-под бархатной полумаски выступала клинообразная борода. Астролог театрально раскланялся, расшаркался и запел фальшивым голосом:

— Вот я здесь!

Екатерина еще не была причесана. Ее чудесные пепельные волосы падали по плечам до колен. Она схватила их правой

рукой, а левой подняла домино, как щит и, спрятавшись за него, вскрикнула:

— Кто это?

Астролог молчал. Екатерина высвободила правую руку, стала ею крестить пришельца и запричитала:

— Аминь, аминь, чур, чур, рассыпья!

Астролог захохотал.

— Пушкин! — закричала Екатерина. — Я вас сразу узнала по смеху!

— Обидно! По смеху узнают только дураков.

— Сейчас же убирайтесь вон отсюда, умник! И в наказание напишите стихи на тему: «Аминь, аминь, рассыпья!»

— А я вам другие стихи принес.

— Те, что принесли, те отдадите, за них спасибо, а на заданную тему все-таки напишите!

— Только не сегодня.

— Даю отсрочку на сорок восемь часов.

— Спасибо и за это!

Объединенными усилиями обеих сестер Пушкина выдворили из девической опочивальни.

— Скорее причесывайся, пора ехать! — торопила сестру Елизавета.

Но Екатерина не спеша заплела две косы, уложила их короною вокруг головы, а затем стала внимательно читать стихотворное послание. Прочитав, села за столик и аккуратно переписала в альбом.

Под небом Африки рожденный,
В Египте жизнь я полюбил,
Но здесь, тобою восхищенный,
О родине своей забыл.
Я все сокровища земные,
Познания чудные мои,
Отдам за очи голубые,
За кудри русые твои.

Хотела было поставить подпись, которой не было на листке, но передумала и написала: «Стихи, поднесенные в маскараде неизвестным астрологом».

* * *

В этот вечер залы московского Благородного собрания напоминали ярмарку. Каких только костюмов там не было! Цыган в сапогах бутылками с кнутом в руках водил медведя. Се-

рый волк бежал за Красной шапочкой. Иван-царевич плелся за бабой-ягой, которая держала на плече помело. Снегурочки, Золушки, берендеи, лешие, русалки, водяные плясали какие-то причудливые танцы. Герои и боги античного мира в хитонах и на котурнах важно шествовали среди русских ведьм и колдунов. Посейдон в короне с трезубцем, Парис с посохом в одной руке и с золотым яблоком в другой, одноглазый Полифем, Амур с луком и колчаном, полным стрел, амазонки, музы и хариты. За ними двигались оживленные карты: бубновый туз, пиковая дама, червонный валет, трефовый король. Мимо пробегали турчанки в чадрах, валькирии в шлемах и с панцирями на груди, да всего и не перечесать. Много масок было в простых домино. Среди них выделялась одна, одетая во все белое. На ней был белый костюм коломбины, сверху белое домино с капюшоном, белая маска с тюлевым покрывалом, как с подвенечной фатой, белые туфельки, белые чулочки, белые перчатки. Ее изящная фигурка скользила по паркету, точно по льду, нигде не останавливаясь, чтобы ее не узнали, и только мимоходом бросала встречным мужчинам интригующие фразы. И не дожидаясь ответа, исчезала в толпе, чтобы вскоре появиться снова и снова огородить какого-нибудь посетителя неожиданным намеком на то, о чем без маски в обществе говорить не принято.

Пушкину она сказала: «Видно, молодцу жениться — все равно, что удузиться».

Князю Вяземскому: «Сиятельный поэт, как ни трудись, а за Пушкиным тебе не угнаться. Сидел бы лучше в ктиторах!»

Киселеву: «Бедная брошенная примадонна Анти! За нее тебя антихрист накажет!»

Соболевскому: «Шутить и век шутить, как вас на это станет!»

Ивану Ушакову она пропела неестественным фальцетом: «Вечер. Поздно из лесочка я коров домой гнала», намекая на его роман с крепостной девушкой и желание на ней жениться.

Наконец шалунья не пощадила человека пожилого и почтенного, князя Дмитрия Владимировича Голицына, московского военного генерал-губернатора: «Тебя, генерал, все боятся, а того не знают, что сам ты дрожишь, опасаясь гнева своей усатой княгини!»

Раздосадованные мужчины решили проследить и наказать белое домино. Опытные охотники, они послали Соболевского заговорить с нею и этим отвлечь ее внимание, а сами стали

сжимать кольцо вокруг своей дичи. Соболевский быстро разыскал в толпе незнакомку и направился к ней.

— Маска, я тебя знаю! — начал он обычное маскарадное вступление к разговору.

— Рада за тебя! — был задорный ответ. — Ты знаешь больше других. Оповести об этом все общество. Ты ведь известный переносчик вестей.

— За эту дерзость ты ответишь особо!

— Если бы мне пришлось держать ответ за все те дерзости, которые я вам наговорила, господа маскарадные шаркуны, то мне, наверное, не быть бы в живых. Однако я не только существую, но и собираюсь это показать новыми дерзостями.

— Я больше не упущу тебя из виду и провожу до дому, хотя бы мне пришлось очутиться у черта на куличках.

— Ты выражаешься очень изысканно, пользуясь тем, что дама под маской и не может поставить тебя на место, чтобы ты не забывался. Сначала попробуй сделать то, чем ты мне угрожаешь, а потом хвались удачей!

Покуда они так перебранивались, к ним стали приближаться Пушкин, братья Ушаковы, князь Вяземский, молодой князь Долгоруков и князь Голицын с московским обер-полицмейстером генерал-майором Шульгиным. Увидя, что она в кольце, маска смело подошла к Шульгину, взяла его под руку и стала что-то шептать ему на ухо. Обер-полицмейстер весело смеялся и явно стал на сторону белого домино.

— Пропустите нас, господа, — сказал он, обращаясь к обступившим их мужчинам. — Дама устала и хочет уехать домой. Мой служебный долг проводить ее до экипажа и оградить ее от нескромных и назойливых преследователей.

— Давно ли полиция взяла на себя охрану маскарадных тайн? — запротестовал князь Вяземский. — Полагаю, что здесь есть старший в чине и по положению, ему принадлежит вся власть на Москве.

И Вяземский обратился к князю Голицыну:

— Ваше сиятельство, возьмите на себя труд проводить маску до ее экипажа, а мы вам поможем в этом и проследим, чтобы она не улизнула.

— Тайна маскарадной интриги неприкосновенна и должна быть уважаема всеми. Нам будет мало чести, если мы силой принудим маску раскрыть свое инкогнито, — сказал князь Голицын. — Впрочем, я готов заменить обер-полицмейстера и от-

везти даму куда она пожелает в моем экипаже, если только белое домино не будет возражать. Ты согласна, маска, чтобы я проводил тебя домой? — обратился Голицын к шалунье, которая с удивительным спокойствием слушала спор мужчин.

— С удовольствием, папочка!

Все ахнули от неожиданности и... расхохотались. Белая маска себя выдала. Она оказалась дочерью князя Голицына, Натальей Дмитриевной. Со злости она топнула ногой, сорвала с себя маску, закрыла лицо руками и убежала. Никто уж не стал ее преследовать.

...Екатерина Ушакова пришла в восторг от выдумки княжны Голицыной, ее старинной приятельницы.

— Эх, отчего не я была на месте Наташи! — сокрушалась она. — Уж я бы вам, господа мужчины, сказала такую правду, что пуше всякой лжи! И уж если бы я опростоволосилась и обнаружила себя, я не стала бы убегать, а в открытую, без маски, при всех повторила бы то, что говорила в маскарадной интриге и спросила бы: «Что, голубчик, разве я солгала? Так кому же краснеть, тебе или мне? То-то! А иное дело могло быть и так, что Наташа заранее обо всем договорилась с отцом и с московским обер-полициймейстером и одурачила вас дважды своей мнимой оплошностью.

* * *

Весть о том, что княгиня Мария Николаевна Волконская приехала в Москву по пути в Сибирь к осужденному мужу, разнеслась по городу с быстротой коня, несущегося вскачь по степному раздолью.

Ее подвигом восхищались, ей сочувствовали, дивились силе ее духа, преодолевшей все препятствия к достижению благородной цели.

Отец грозил ей проклятием, сына-первенца пришлось оставить у бабушки, а царь приказал лишить ее титула, дворянства, всего имущества и даже права вернуться в Россию, разве только овдовеет. Княгиня превращалась в бесправную ссыльно-поселенку за то, что не отрекалась от мужа, государственного преступника.

Княгиня Волконская была не первой, последовавшей влечению сердца и чувству супружеского долга. За полгода до нее княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, урожденная графиня Лаваль, дочь знатного французского эмигранта, добилась от

императора Николая Павловича разрешения следовать за Трубецким, осужденным по первому разряду к двадцати годам каторги. У княгини детей не было. Ей предложили расторгнуть брак с Трубецким и выйти замуж за кого пожелает, но княгиня с негодованием отвергла эти предложения, а через несколько дней покинула роскошный дворец своего отца, чтобы поселиться в какой-нибудь убогой сибирской избенке, только бы около любимого человека.

Княгиня Трубецкая поехала, минуя Москву, прямо на Новую Ладугу, Тихвин, Мологу, Рыбикск, Ярославль, Кострому и дальше на Владимир, Нижний Новгород, Вятку, Пермь, Кунгур, Колывань, Томск, Красноярск, Нижнеудинск и, наконец, Иркутск. Долгий, печальный, трудный путь!

Между тем среди осужденных по делу 14 декабря было много москвичей: Анненков, Нарышкин, Ентальцев, барон Штейнгель, Семенов, Колошин и другие. Их родные и близкие увидели в приезде княгини Волконской неповторимую оказию, чтобы установить связь с осужденными и переслать им письма, деньги, газеты, книги и посылки.

К дому Зинаиды Александровны на Тверской потянулись знакомые и незнакомые с одной и той же просьбой: передать в Сибири такому-то письмо или посылку. И слуги княгини с ног сбились, принимая то рогожные кульки с окороками и копчеными колбасами, то баулы с бельем и носильными вещами, то ящики с книгами, то мешки с разной домашней снедью, то футляры со скрипкой или гитарой. Сибирские морозы должны были сохранить продукты свежими. Ко многим пакетам были пришиты или приколоты записки такого содержания: «Прошу вас, милостивая государыня, княгиня, отдать сию посылку господину Семенову, а буде не приведет бог его увидеть, то распорядитесь ею по своему усмотрению, ваше сиятельство!»

— Ну, куда я все это дену? — говорила Мария Николаевна жалобным голосом своей невестке, глядя на гору вещей, которая все росла и росла. — Разбе можно погрузить в мою дорожную кибитку такой сгромный склад? И отказывать грех, и взять с собою невозможно!

— Не тревожься, дорогая Машенька! — успокаивала ее Зинаида Александровна. — Я дам тебе вторую кибитку. Она не только облегчит твою задачу, но и даст тебе некоторый комфорт. Евсеич поедет с вещами и освободит место в твоей дорожной, так что ты с Аннушкой останешься вдвоем. Не хлопочи,

не тревожься, иди отдыхай! Тебе нужно беречь силы для долгого пути. Мы здесь без тебя все сами сделаем.

Зинаида Александровна увела невестку в спальню, заставила ее раздеться и лечь в постель.

— Постарайся уснуть хоть немного. Сегодня ночью тебе ехать. Мы для тебя на прощание устроим замечательный концерт. Будут петь все лучшие артисты итальянской оперы, будут играть прекрасные музыканты, я спою мои любимые арии. Да ведь ты и сама певица хоть куда. Жаль только, что ты не успеешь оценить то общество, которое придет тебя проводить. Впрочем, троих ты знаешь: это Пушкин и его друг князь Вяземский с женой.

Однако отдохнуть и поспать молодой путешнице не удалось. Не прошло и получаса, как швейцар доложил, что приехала какая-то дама, по-видимому иностранка, француженка, и просит допустить ее к княгине Волконской. Мария Николаевна заволновалась и хотела было уже подняться, но Зинаида Александровна уложила ее снова.

— Погоди, лежи спокойно, может быть, это ко мне.

Она стала спускаться по широким мраморным ступеням лестницы, которая вела в большие сени, уставленные цветами и статуями. У дверей стояла молодая женщина в бархатной шубке, отороченной соболями, и в соболиной шапочке. Лицо дамы показалось княгине знакомым.

— Вы спрашивали княгиню Волконскую? Я к вашим услугам.

— Не шутите, мадам, — отвечала незнакомка по-французски. — Вас я знаю, вы княгиня Репнина, а мне необходимо видеть княгиню Марию Волконскую.

Зинаида Александровна была удивлена. Немногие знали, что ее муж, Николай Григорьевич Волконский, по высочайшему повелению должен был именоваться князем Репниным, чтобы не исчез знаменитый древний род его матери. Княгиня с мужем давно разошлась и жила самостоятельно, но они не были разведены, поэтому Зинаида Александровна также обязана была носить новую фамилию. Она не придавала этому никакого значения и в обществе по-прежнему слыла за княгиню Волконскую.

— Это правда, я — Репнина, но я не шутила, я только не думала, что для вас имеет значение новая фамилия моего мужа. Ваше лицо мне знакомо, где-то я с вами встречалась.

— Вас память не обманывает. Вы были клиенткой в модном

магазине мадам Дюманси на Кузнецком мосту, а я там служила старшей продавщицей. Поэтому я так хорошо запомнила и ваше лицо, и вашу настоящую фамилию. Вы же просто не обращали внимания на тех, кто вас обслуживал. Это только естественно. Ни обижаться, ни удивляться нам не приходится: мы к этому привыкли.

— Так вам нужна моя невестка?

— Да, княгиня! Мне необходимо повидать княгиню Марию Волконскую по очень срочному и нужному делу. Дело очень, очень важное, быть может, для нас обеих!

— Она отдыхает, мне жаль ее будить, но что поделаешь! Времена у нас необычные и обстоятельства чрезвычайные. Поднимитесь, пожалуйста, наверх и следуйте за мной. Я сейчас скажу Машеньке об вас.

— Мерси!

Дама без помощи швейцара быстро сбросила шубку и осталась в модном и богатом выходном платье. Зинаида Александровна недоумевала: откуда у скромной продавщицы средства для таких нарядов? А сквозь стеклянную дверь видны были сани с медвежьей полостью, двое породистых рысаков и бородатый кучер в синем армяке, перехваченном красным кушаком. Он привез незнакомку и теперь ожидал ее.

Мария Николаевна была заинтересована странным визитом, однако не спешила, оделась так же тщательно, как и всегда, и вошла в гостиную своей обычной походкой, медленной и плавной, за которую ее называли «девой Ганга».

Подойдя к гостье, Мария Николаевна приветливо ей улыбнулась, подала руку и спросила:

— С кем я имею честь говорить?

— Княгиня, меня зовут Полина Гебль. Я дочь полковника французской службы. Отец мой сражался с Россией в рядах наполеоновской армии и пал с честью в одном из сражений. Мне тогда было восемь лет. Вскоре умерла моя мать, и я осталась одна на попечении родственников. Чтобы честно добывать средства к жизни, я должна была работать. Меня всегда влекло к вашей стране, и я охотно приняла предложение мадам Дюманси, которая открыла на Кузнецком мосту магазин модных товаров. Ваша невестка встречала меня там, но, увы, теперь не узнала. Что делать? Горе не красит.

— Простите, но я все не пойму, почему вы мне все это рассказываете?

— Минутку терпения, княгиня! Мы с вами подруги по несчастью. Та, которая так героически следует велению своего супружеского долга, без сомнения, поймет и другую женщину, которой выпала такая же судьба.

— Продолжайте!

— В России я нашла свое счастье. Я познакомилась с кавалергардом Анненковым Иваном Александровичем, и мы горячо полюбили друг друга. Но вскоре оказалось, что он был членом тайного общества и теперь осужден по второму разряду на пятнадцать лет каторги.

— Вы его жена?

— Нет, но я мать его ребенка. О, поверьте, княгиня, что если бы я хотела преступить правила деликатности, я давно была бы законной супругой Анненкова, но его мать не соглашалась на этот брак, а я не соглашалась венчаться с ним без согласия матери!

— Я хорошо знаю эту сумасбродную даму! — заметила смеясь Зинаида Александровна. — Она несметно богата. В ее доме двери из цельного богемского хрусталя. Ей готовят ежедневно двенадцать поваров обеды, завтраки и ужины на сорок человек, хотя живет она одна с несколькими приживалками. В Москве ее прозвали «царицей Голконды» за необыкновенные бриллианты. Нет ничего мудреного в том, что Анна Федоровна Анненкова противилась вашему браку с ее сыном. Хотя она и славится полным равнодушием к судьбе своих детей, однако спесь ей диктует, что сын ее может жениться только на принцессе или герцогине.

— О, теперь все это изменилось. Госпожа Анненкова ко мне относится совсем не так, как раньше. Она убедилась, что мною руководит истинная любовь, а не желание иметь богатого мужа. Теперь госпожа Анненкова поселила меня с дочкой в своем доме, обращается со мною самым любезным образом, балует маленькую Жанну и сама желает нашего брака. Но достичь этого не так-то легко. Впрочем, вы, княгиня, сумеете нам помочь.

— Очень охотно. Но чем же?

— Передайте Жану, то есть, простите, Ивану Александровичу, письмо, деньги и кольцо с бриллиантом.

— Я бы рада, но почему вы думаете, что я его увижу? Может быть, он в другом месте?

— О нет, княгиня, я сама видела, как его отвозили в одной партии с вашим супругом.

— Как вам это удалось?

— Не легко, конечно. Но я не сидела сложа руки. Как только моего Жана арестовали, я тотчас же поехала в Петербург, хотя была еще больна после родов. Наняла квартиру около Петропавловской крепости и через крепостного унтер-офицера дала знать Анненкову, что я в Петербурге и хлопочу о нем. К несчастью, он думал, что я его оставила и пытался повеситься. Его сняли с петли, вылечили, но он был еще очень слаб. Через несколько дней он прислал мне записку: «Где же ты, что ты сделала? Боже мой, ни одной иглы, чтобы уничтожить мое существование». Я тотчас же передала ему медальон с ответом: «Я последую за тобой в Сибирь». Тогда он успокоился и подчинился своей судьбе. Мне удалось его увидеть и говорить с ним. Он был небрит, одет в каком-то странном костюме из серой нанки и в простом картузе. «Встретиться или умереть!» — были его последние слова. А теперь я должна посвятить вас в одну тайну.

— Мне, может быть, удалиться? — спросила Зинаида Александровна. — Вам тогда будет легче говорить.

— Что вы, княгиня, у меня и мысли такой не было? Я пришла к вам с открытой душой. Цель у нас одна, и мы должны объединить усилия. Мы должны смягчить удары, которые правительство наносит нашим дорогим и близким людям. А если сумеем, то и совсем избавим их от мести царя.

— Что же мы можем сделать?

— Много, очень многое, уверяю вас! Тот унтер-офицер, который помогал мне видаться с Жаном, подал мысль о побеге. Он и сам был готов бежать с нами за границу, но для этого нужно было много денег. Я бросилась к госпоже Анненковой. «Мой сын — беглец! Я никогда не соглашусь на это. Он честно покорится своей судьбе!» Я ответила: «Это достойно римлянина, но времена их миновали». Так я вернулась в Петербург ни с чем, но мысли своей не оставила. Прежде мне было достаточно любви Жана, но теперь я добьюсь, что стану его законной супругой, Прасковьей Егоровной Анненковой, и попытаюсь устроить ему бегство из Сибири. Не захочет ли ваш супруг быть его товарищем в этом предприятии?

— Мысль смелая и благородная! Я готова принять участие в ее осуществлении. Но мне кажется, что говорить об этом преждевременно. Мы не знаем, что найдем в Сибири. Во всяком случае я благодарна вам за доверие и обещаю, что при первой воз-

возможности передам Анненкову письмо, деньги и кольцо. А мысль о бегстве — неперенная мечта каждого узника! Посмотрим! Поживем, увидим!

— До свидания, княгиня! Желаю вам счастливого пути и радостной встречи.

— Благодарю вас, госпожа Гебль! Желаю и вам скорейшего осуществления ваших надежд!

Дамы крепко расцеловались, и француженка ушла.

— Какая прелестная женщина! — сказала Зинаида Александровна. — Красивая, умная, приветливая! А сколько энергии, какая деловитость! Мудрено ли, что Анненков души в ней не чаает, а его старуха-мать пленилась ею и дала согласие на брак.

— Эта француженка — вот настоящая героиня! — воскликнула Мария Николаевна. — Она готова на все, хотя Россия не ее родина и в Сибири она будет очень несчастна уже из-за одного климата. Не мне отговаривать ее, но в манифесте государя сказано о семьях осужденных, она же еще не член его семьи, пока не получит высочайшего разрешения на брак с государственным преступником.

Темнело. Кончался короткий зимний день. Княгиня Зинаида Александровна приказала затопить камин и поставить около него большое вольтеровское кресло.

— Садись здесь, Машенька, отдохни и погрейся. Ложиться снова нет смысла: скоро начнут съезжаться гости. Мы с тобою на прощание тихо побеседуем. Ведь мы совсем не знаем друг друга. Когда я выходила замуж, ты была еще ребенком, жили мы врозь, а когда ты вышла за Сергея, я уж давно была разлучена с его братом. А вот привел бог свидеться, да еще в каких тяжелых обстоятельствах!

— Не знаю, как это случилось, но ты мне стала сестрой и даже ближе родных сестер, хотя я знакома с тобою только два дня. Признаюсь, у меня ощущение, будто я долго спала и теперь только проснулась. Все люди, все события представляют мне в другом свете, совсем не так, как до сих пор.

— Ты решила следовать за Сергеем, потому что любишь его или тобою руководят другие мотивы?

— Отвечу тебе, как женщина женщине. Сергей — благороднейший и достойнейший человек, но я еще не успела даже привязаться к нему. Вышла я за него замуж по воле отца, который меня уверил, что я буду счастлива с таким человеком. Знатный, богатый, молодой генерал, храбро сражался, человек

с блестящим будущим и, главное, любит меня до обожания. Чего я могла требовать еще? Мы, девушки, мало смыслим в этих делах. Я поверила и согласилась. Потом оказалось, что Сергей вечно занят: то он уезжал в Тульчин, то в Киев, то в Умань, то в те места, где находились полки его бригады. А я оставалась одна, но верила ему, что иначе нельзя, потому что он действительно меня очень любил. Но разговаривали мы с ним мало. Однажды он приехал ночью и разбудил меня. «Вставай!» Я встала и оделась. «Нам надо ехать!» — «Куда?» — «К отцу!» — «Зачем?» — «Постель арестован». — «За что?» Сергей ничего не ответил, разжег огонь в камине и стал жечь какие-то бумаги. Я была в последнем месяце беременности. Родился Николенька. Роды были тяжелые. Я болела потом месяца два рожистым воспалением ноги. А когда выздоровела, то узнала всю правду о несчастном заговоре. Сергей пострадал за любовь к родине, к народу, как же я могу не облегчить его страданий. Это мой долг, и я его исполню.

— Милая моя подвижница! — говорила Зинаида Александровна и нежно целовала невестку.

— Нет, истинная подвижница — Полина Гебль! А мы, русские жены, и не мыслим поступить иначе. Смотри: я не одна. Катюша Трубецкая уже уехала, завтра едет Александра Муравьева, за нами Ентальцева, Юшневская, Нарышкина, тетя Саша, жена дяди Васи Давыдова, владельца Каменки, а всего пока девять жен да две невесты. Княжна Шаховская тоже просила государя разрешить ей выйти замуж за Муханова, но государь отказал.

— Тебя волнует этот разговор. Отложим его!

— Нет, дай мне высказаться! Во время болезни я много думала. Передо мной открылись стороны жизни, о которых я прежде не подозревала. Почему меня преследует правительство и не понимают родные? Я — жена русского генерала и, если бы Сергей вернулся с войны на костылях или без руки, неужели я должна была бы от него отвернуться и заниматься только светскими успехами и здоровыми поклонниками? Уж мой отец-то во всяком случае должен был стоять на моей стороне. Он сам генерал, и ему грозила ежеминутно опасность быть изувеченным. Я поняла и то, почему бесится брат Александр. Когда Михаил Федорович Орлов делал предложение Кате, то отец под внушением Александра потребовал честного слова, что Орлов не состоит членом тайного общества, а если состоит, то чтобы

вышел. Им тогда и в голову не приходило, что Сергей тоже может стать заговорщиком. С него слова и не взяли. Даже и разговору такого не было.

А теперь Александр чувствует себя одураченным и бьет отбой, но уже поздно. Сами виноваты, а хотят, чтобы в отлете была я. И еще я думаю о минувших событиях. Наши мужья и братья скрывали от нас свою борьбу с самовластием. Либо они нас щадили, либо считали, что заговоры, как и война, не женское дело. А, вернее всего, не верили в нас. Между тем, кто знает, чем бы кончилось восстание, если бы все мы, жены, сестры, подруги и невесты, приняли в нем участие? Неужели среди русских женщин не нашлось бы ни Жанны д'Арк, ни Шарлотты Корде?

Пламя камина освещало смуглое и бледное лицо молодой женщины, ее большие черные глаза, устремленные куда-то вдаль, где, казалось, она видела нечто, непостижимое для других. Зинаида Александровна залюбовалась ею. Молча прижавшись к невестке, она с ужасом думала о тех испытаниях, которые еще выпадут на долю юной героини. Выдержит ли она эти муки, не сломают ли они ее, такую умную, гордую, полную самоотречения, готовую к новым жертвам?

* * *

Пушкин написал два послания: отдельное Пушкину и общее «В Сибирь», но не взял их с собою, когда пошел к Волконским. Ему не верилось, что Мария Николаевна уедет этой же ночью. Правда, он мог в любую минуту вернуться домой за листками, но не сделал этого. Его остановила весть о том, что на следующий день должна отправиться в Сибирь новая подвижница, Александра Григорьевна Муравьева, жена знаменитого Никиты, автора «Конституции».

Любопытство простиительно писателю. Никиту Муравьева Пушкин знал еще в Петербурге во времена своей первой молодости, но с женой его, урожденной графиней Чернышевой, знаком не был. Теперь же у него был предлог для такого знакомства, лучше которого не придумаешь: два поэтических послания, которых нельзя доверить никому постороннему. Соблазн увидеть еще одну подвижницу воочию был очень велик, да Пушкин и не намеревался его преодолеть.

Узнать, где остановилась Муравьева, труда не составляло, и в полдень поэт уже был готов к визиту. Его приняли без

промедления. Объяснив, что он не успел передать посланий через княгиню Волконскую, Пушкин просил Александру Григорьевну взять эту комиссию на себя.

— Конечно, конечно, с огромным удовольствием! Ваш поэтический привет не только доставит им художественное наслаждение, но и подымет бодрость духа. А в этом они особенно нуждаются. Уж одно то, что в их положении они не забыты, что русское общество в лице своего лучшего поэта шлет им свой отклик, выражает сочувствие — много, много значит.

В Александре Григорьевне Муравьевой бросалась в глаза прежде всего ее чарующая доброта. Она светилась в глазах, в обаятельной улыбке, в мягких женственных движениях.

— Послания посланиями, — говорил Пушкин, любуясь ею, — но вы передайте, пожалуйста, вашему супругу Никите Михайловичу поклон от меня, его доброго приятеля, с которым он не виделся семь лет и, кто знает, придется ли нам свидеться.

— Признаюсь, когда раскрылся заговор, и стало известно, что в России существовали тайные общества, мы все были уверены, что и вы являлись его участником, и тревожились за вас.

— Эти господа не приняли меня в свое общество, хотя я и добивался этого. Очевидно, я не стоил такой чести.

— Что вы, вас просто берегли!

— Открою вам тайну, что я задумал одно произведение, связанное с крестьянскими восстаниями на Урале, с Пугачевым и его подвизниками. Для этого мне придется осуществить большую поездку по северным краям. Для милого дружка семь верст не околица, может случиться, что я побываю в Сибири.

— Как бы хорошо было!

Александра Григорьевна смотрела на Пушкина добрым и в то же время восхищенным взглядом и молчала. Наконец она превозмогла какое-то волнение и тихо произнесла:

— Александр Сергеевич, послания вами не подписаны, но ведь под пушкинскими стихами подписи не надо. Если узнают автора, вы можете снова пострадать: попасть под царский гнев и подвергнуться опале.

— И это говорите мне вы, подвижница, которую ожидают неизбежные лишения и страдания?

— Я должна делить с мужем его судьбу и облегчить участь его брата Александра, моего деверя, моего родного брата Захара Чернышева и нашего двоюродного брата Федора Вадковского!

— Мой привет им и их союзникам — это привет друга, товарища и брата! А там будь что будет!

Когда Пушкин ушел, Муравьева прочитала стихи и бережно спрятала их на груди. Каждую строчку послания она впитала, как свежую бодрящую струю воздуха. Долго еще сидела она задумавшись, а губы шептали:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

— Спасибо, спасибо тебе, мужественный поэт!

* * *

Оставался долг чести: стихи на заданную тему. Пушкин написал их, но отдать вовремя не успел. Мешали исключительные обстоятельства последних дней. Срок нарушен, но этому есть оправдание. И Пушкин поехал к Ушаковым.

Там за чайным столом уже сидело много гостей: князь Вяземский с Верой Федоровной, Сергей Дмитриевич Киселев, князь Долгорукий и несколько барышень.

У всех только и речи было, что о женах-подвижницах, поехавших в Сибирь за мужьями. Княгиня Вера Федоровна рассказывала о княжне Варваре Михайловне Шаховской.

— Варенька была смертельно влюблена в штабс-капитана Муханова, Петра Александровича. Он в их доме бывал, ухаживал, но предложения не делал. Когда же его осудили, Варенька, никого не спросившись, подала государю просьбу: разрешить ей поехать в Сибирь и там выйти замуж за Муханова. Она рассчитывала, что в этом случае Муханов будет счастлив иметь ее своей женой, своим ангелом-хранителем. Однако государь отказал в ее просьбе. Говорят, что он был разгневан, узнав, что, вопреки его желанию и угрозам, все больше и больше жен просятся к мужьям, а за ними пошли и невесты. Вареньку не смутил августейший отказ. Ведь не запрещено же русским людям ездить по большим дорогам, хотя бы и до Сибири. А что у них в душе, зачем они сзят — это они сами лучше знают. И Варенька отправилась тихо, без шума, в домашней кибитке на перекладных. Ехала, говорят, без всяких препятствий, потому что в пути на нее ни губернаторы, ни полицмейстеры, ни исправники

не обращали ни малейшего внимания. Теперь она в Иркутске и надеется на скорую и легкую встречу со своим Петром Александровичем.

— Спасибо женщинам! — поддержал жену князь Вяземский. — Они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. Что за трогательное и возвышенное отречение! В них видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая безмятежная покорность мученичества, которое не думает о славе, а поглощается одним чувством, тихим, но всеодолевающим.

В этот вечер не шутили, не танцевали, не поддразнивали друг друга. Немножко музицировали, Елизавета с Киселевым пели грустные, задумчивые песни, а Пушкин, Вяземский с женой и Екатерина Ушакова удалились в уголок и там говорили о новостях литературных.

— А вы что нового написали, самодержавный поэт? — спросила Пушкина Екатерина.

Пушкину хотелось ответить, что написал он послания Пушкину и «В Сибирь», но сдержался. Не время и не место говорить. И он сказал:

— Я написал вам послание на заданную тему.

Екатерина этого не ожидала. Она взяла листок и прочитала вслух:

Ек. Н. Ушаковой.

Когда бывало в старину
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изреченье:
«Аминь, аминь, рассыпся! В наши дни
Гораздо менее бесов и привидений
(Бог ведает, куда девались они!)
Но ты, мой злой иль добрый гений,
Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые,
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою
И сердца полного мечтою
«Аминь, аминь, рассыпся!» говорю.

Все оживились. Мужчины стали хвалить, а Вера Федоровна сказала:

— Если бы мне посвятили такие стихи, я бы расцеловала поэта!

Екатерина не смутилась и сделала презрительную гримаску.

— Стоит ли он? В стихах девушке можно что угодно сказать: и что она ангел, и что ее на свете нет прекраснее, и что без нее нет счастья на земле. А вот как возьмешь, да поскребешь оболочку, да как заглянешь в самое нутро поэтической души, так и увидишь его подлинное отношение к нам, грешным женщинам. Мы сегодня говорили о женщинах-подвижницах. Какое-то им будет читать такие строки из новой главы «Онегина»:

Закабалась несторожно,
Мы их любви в награду ждем,
Любовь в безумии зовем,
Как будто требовать возможно
От мотыльков или от лилей
И чувств высоких и страстей.

Екатерина обвела всех торжествующим взором и, обратившись к Пушкину, назидательно произнесла:

— Возможно, ваше парнасское величество, очень даже возможно!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ОТЪЕЗД



АСТУПАЛА пора уезжать в Петербург, а дел было невпроворот. «Деревенька на Парнасе» требовала забот и хлопот. Урожай был большой, и товару для стихистой торговли заготовлено много: главы «Онегина», «Борис Годунов», поэмы, лирические стихи, послания и эпиграммы. Все это надо было сначала провести через цензуру, потом сдать в журналы и альманахи, а самое крупное выпускать отдельными изданиями. Между тем, подписка на «Московский вестник» падала, и новый журнал не оправдывал надежд.

— Главная наша ошибка в том, — говорил Пушкин Погодину, — что мы хотели быть слишком дельными. Стихотворная часть у нас славная; проза может быть еще лучше, но вот беда: в ней слишком мало вздору. Повести должны быть непременно существенной частью журнала, как моды у «Телеграфа». У нас не то, что в Европе — повести в диковинку.

Так или иначе, а деньги у «Московского вестника» были на исходе, и между сотрудниками уже начинались споры о том, кому нести убытки.

Пушкин, получивший при самом основании журнала пять тысяч рублей, теперь должен был печатать свои произведения бесплатно.

Приходилось налечь на отдельные издания. Для начала Пушкин решил выпустить «Цыган» и отрывок из поэмы «Братья-разбойники».

Хотя были предложения от петербургских издателей, но Соболевский настаивал на том, чтобы печатать в Москве самим и не делиться ни с кем доходами. Пушкин доверял деловитости Соболевского и согласился. Он и сам считал, что печатать «Цыган» надо в Москве, а не в Петербурге, потому что большие отрывки из поэмы печатались в петербургских альманахах «Полярная звезда» и «Северные цветы». Кроме того, брат Лев читал всю поэму, которую он знал наизусть, своим петербургским знакомым, а знакомых у него весь город. И не только читал, но давал списывать. Кто же теперь в северной столице купит печатное издание?

Соболевский достал бумагу, договорился с владельцем типографии господином Августом Семеном и хотел было приступить к тиснению, как вдруг появилось неожиданное препятствие: цензор Павел Гаевский не разрешил печатать поэму, опасаясь таких слов, как «свобода» и «вольность». Пушкин через Дельвига представил рукопись Бенкендорфу для передачи государю.

«Мне крайне лестно и приятно служить отголоском всемирно-славнейшего внимания его величества к отличным дарованиям вашим, — писал ему Бенкендорф. — Прошу вас сообщать мне... все и мелкие труды блистательного пера вашего».

Как было не воспользоваться любезностью генерала, который так охотно брал на себя роль посредника между поэтом и его августейшим цензором.

Однако Бенкендорф не сразу показал государю рукопись «Цыган». Не проявляя никакого интереса к поэзии, он послал спорную поэму на отзыв жандармскому генералу Ивану Петровичу Бибикову. Ответ был неожиданным и очень благоприятным для автора.

«В «Цыганах», хотя и говорится о свободе и вольности, или, лучше сказать, хотя в сей пьесе упоминаются эти слова, но это не стремление к воспламенению умов, не политическая свобода и вольность (так называемые), но вольность цыганской бездомной жизни, свобода степей. Без всякого сомнения сколь не будет хорошо описана цыганская жизнь и нравы кочующих, никто не бросит своего и не променяет жизнь городскую на цыганскую. Это лучшее произведение Пушкина в литературном отношении в роде Байрона».

Цензурное разрешение было получено, и вскоре поэма появилась в свет. По новизне дела Соболевский перестарался: назначил непомерно высокую цену — 6 рублей за книжку в 46 страниц. Кроме того, поэма вышла без имени автора. Между тем не всякий в Москве знал, что «Цыган» написал именно Пушкин, а не какой-нибудь другой поэт. Но это было еще полбеды. Соболевский умудрился причинить Пушкину более серьезные неприятности, выбрав для обложки виньетку, изображавшую разбитые цепи, кинжал, змею и опрокинутую чашу. Разбитые цепи могли толковаться как символ свергнутый тирании, а кинжал, как знак революционного насилия.

Бенкендорф немедленно послал запрос в Москву жандармскому генералу Волкову:

«Небольшая поэма Пушкина «Цыганы», только что напечатанная в Москве в типографии Августа Семена, заслуживает особенного внимания своей виньеткой, которая находится на обложке. Потрудитесь внимательно посмотреть на нее, дорогой генерал, и вы легко убедитесь, что было бы очень важно знать на верное, кому принадлежит ее выбор — автору или типографу, потому что трудно предположить, что она взята случайно. Я очень прошу вас сообщить мне ваши наблюдения, а также результаты ваших исследований по этому предмету».

Волков ответил своему шефу быстро и точно:

«Выбор виньетки достоверно принадлежит автору, который ее отметил в книге образцов типографских шрифтов, представленных ему г. Семеном. Г. Пушкин нашел ее вполне подходящей к своей поэме. Впрочем эта виньетка делалась не в Москве. Г. Семен получил ее из Парижа. Она имеется в Петербурге во многих типографиях».

Выбор виньетки принадлежал Соболевскому, представителю автора, а не самому автору, то есть не Пушкину. Впрочем, эпизод этот дальнейших последствий не имел.

В благодарность за хлопоты по изданию Пушкин приказал отпечатать один экземпляр поэмы на пергаменте и подарил его Соболевскому, страстному библиофилу и собирателю редких изданий.

Второй экземпляр надлежало поднести поэту и другу князю Петру Андреевичу Вяземскому.

— Ты знаком с моими «Цыганами» частью по отрывкам, напечатанным в альманахах, частью от неугомонного Левушки, — сказал Пушкин Вяземскому. — Но сегодня я хочу посвятить

тебя в те части поэмы, которые неведомы почтеннейшей публике. Слушай: у Алеко от Земфиры родился сын. Этому событию посвящен отрывок, который не вошел в беловой текст. Вот он на отдельном листке:

Бледна, слаба Земфира дремлет —
Алеко с радостью в очах
Младенца держит на руках
И крику жизни жадно внемлет.
«Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Несомненный дар свободы!
Останься посреди степей,
Безмолвны здесь предрассуденья
И нет их раннего гоненья
Над дикой люлькою твоей.
Рости на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.
Под сенью мирного забвенья
Пусть цыгана бедный вѣцук
Лишен и неги просвещенья
И пышной суеты наук —
Зато беспечен, здрав и волен,
Тщеславных угрызений чужд,
Не зная вечно — новых нужд.
Он будет жизнью доволен.
Гнет, не преклонит он колен
Перед идолом какой-то чести,
Не будет вымышлять измен,
Трещеца тайно жаждой мести.
Не испытает мальчик мой
Сколь... жестокости пени,
Сколь черств и горек хлеб чужой,
Как тяжело медленной стопой
Всходить по чуждые ступени.
От общества, быть может, я
Отъемаю ныне гражданина —
Что нужды — я спасаю сына —
И я б желал, чтоб мать моя
Меня родила в чаще леса
Или под юртой остяка,
Или в расселине утеса.
О, сколько б едких угрызений,
Тревог... разуверений
Тогда б я в жизни не узнал.

Отрывок не закончен и не отделан. Писал я его не для печати, а для себя. Для меня он имеет значение и важность жизненной правды. Чтобы ты помнил об этом, я включил и себя в круг героев поэмы.

И Пушкин, взяв экземпляр книжки, вписал в эпилог после стихов:

Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смирной вольности детей.

новые строки:

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

— Ловлю тебя с поличным! — воскликнул Вяземский, как только Пушкин окончил писать и передал ему книжку. — Две строчки ты похитил из Дантовой «Божественной комедии»: «Сколь тяжко медленной стопой всходить на чуждые ступени».

— И за грех не считаю! Данте и Шекспир принадлежат всему миру. Из них можно черпать каждому, не называя источника.

— И еще. Твой Алеко явно начитался Жан Жака Руссо и начисто отрицает цивилизацию ради жизни бедной, но близкой природе. А сам он почему бросил неволю душных городов? Не потому ли, что у него на совести тяготеет кровавое преступление и он бежал от возмездия закона?

— Думай, как хочешь! Я ведь исключил этот отрывок из поэмы.

— Но уж, если ты по дружбе познакомил меня с ним, так уж разъясни, друг, последнее недоумение: твою героиню зовут Земфирой, да и ты мне рассказывал, что был знаком с цыганкой Земфирой, которую зарезал ее любовник, но не русский, а цыган. Ты же почему-то долго твердил «имя нежное милой Мариулы».

— Ты — ктитор, сиречь, церковный староста, мирянин, а не клирошанин. Тебе не дано право исповедывать грехи. А потомкам не надо знать наших человеколюбивых подвигов.

— У твоей Земфиры был ребенок?
— Был. Сын.
— Кто был его отцом?
— Не знаю. Я спрашивал об этом у старого цыгана.
— И что он тебе ответил?
— Старик сказал: «Чьи бы бычки ни прыгали, а телята наши».

* * *

Давно ли Пушкин писал, что слава — «яркая заплатка на ветхом рубище певца». Теперь рубища не было. Модный фрак, строгий черный сюртук в обществе и дорогой бухарский халат дома — составляли наряд великого, признанного всеми поэта. Однако в его славе что-то изменилось. К поэту явно охладели. Появление Пушкина в театре или в залах Благородного собрания не вызывало больше ни общего оживления, ни даже простого любопытства. А теперь вот и книжка его лежит у книгопродавцов на полках и пылится: ее никто не покупает.

Пушкин болезненно воспринимал охлаждение и объяснял его естественной изменчивостью в настроениях толпы. Учил урок и заметил про себя, что место писателя есть его ученый кабинет. Он не намеревался ни льстить дурным вкусам толпы, ни каким-либо иным способом вернуть себе ее расположение.

С злорадным удовольствием отметили разлад между Пушкиным и московским обществом Фон-Фок и Бенкендорф. Тайная полиция раскрыла кружок братьев Критских, которые ставили себе те же цели, что и заговорщики 14 декабря. Революционная зараза, которую в Третьем отделении считали истребленной, на самом деле только переместилась из высших слоев в низшие.

Павел Критский, молодой человек двадцати одного года, служивший канцеляристом в одном из московских ведомств, показал на допросе, что «любовь к независимости и отвращение к монархическому правлению возбудились в нем наиболее от чтения творений Пушкина и Рылеева».

Однако из дальнейшего следствия стало ясно, что бывлой кумир радикальной молодежи потерял свое обаяние. Брат Павла Критского Михаил, семнадцатилетний юноша, предложил на одном из заседаний кружка избрать Пушкина председателем этого тайного общества, но другие участники ему возразили, что Пушкин ныне преданся большому свету и думает больше о модах и остреньких стишках, чем о благе отечества.

Расчеты Фон-Фока оправдывались. Естественно было думать, что молодой и пылкий поэт, принадлежащий к высшему обществу, после шести лет изгнания ринется в вихрь светских развлечений. И слава, и сладостное внимание женщин, и непривычное богатство неминуемо отвлекут его от мыслей о нуждах и горестях народа. Даже самая милость государя, оказанная поэту той самой рукой, которая послала на казнь пятерых заговорщиков, а остальных заточила в казематы и крепости, неминуемо отвлечет от прославленного певца свободы лучшие слои общества. Прожженный руководитель сысского ведомства самодовольно потирал руки. Он не видел для Пушкина другого выхода, как только переход на сторону правительства. Иначе гибель, гибель бесславная и неоствратимая.

Пушкин понимал, что в глазах общества его судьба неразрывно связана с судьбой заговорщиков. И он говорил Вяземскому:

— Ну, ктитор, покоримся велению свыше! Им ореол мученичества и вечная слава, а нам мелочные почести модных писателей.

Теперь же и мода от него отворачивалась. А Соболевский ничего не видел, ни с чем не считался и подливал масла в огонь. После «Цыган» он взялся печатать в Москве отрывки из поэмы «Братья-разбойники». Книгопродавец Ширяев купил весь забор — 1200 экземпляров за полторы тысячи рублей. Между тем, в то время как Соболевский назначил цену для розничной продажи 1 рубль и 5 копеек, Ширяев пустил книгу в продажу, повысив стоимость ее до двух рублей. Соболевский увидел в этом не только жадность торговца, но и скрытый упрек в том, что он, Соболевский, не сумел взять от публики всего бабыша.

Чтобы наказать своевольного купца, Соболевский, не говоря ни слова Пушкину, издал «Братьев-разбойников» вторым тиражом и назначил за книжку, которая ни видом, ни бумагой не отличалась от первого издания, нарочито низкую цену — 42 копейки.

Когда же он привез домой сотни экземпляров поэмы и со смехом стал рассказывать Пушкину, как он проучит Ширяева, он сразу по лицу поэта увидел, что и смех его, и вся затея неуместны. Пушкин выслушал его и сухо приказал положить все книжки нового издания на чердак и не выпускать их в продажу, пока первый тираж не будет раскуплен.

— Торговцу нужен барыш. Он купил поэму не ради прекрасных глаз поэта. А по старой цене Ширяеву не только не видать прибыли, но и своих денег не выручить. Если же он на этой сделке обдернется, то какой же ему расчет будет иметь с нами дело в следующий раз?

Соболевский понял, что больше ему не придется принимать участие в издании пушкинских книг.

* * *

«Ум любит простор, а не цензуру», — горько усмехнулся Вяземский, когда Пушкин жаловался ему на мытарства, которые должны были испытывать его произведения от нового порядка, который завел для него государь. Бенкендорф сумел использовать этот порядок для дальнейших притеснений поэта.

Сам государь по-видимому благосклонно относился к новым творениям Пушкина. Он разрешил печатать стихотворения: «Ангел», «Стансы» и третью главу «Онегина» без каких-либо поправок.

«Графа Нулина» государь император изволил прочесть с большим удовольствием, — писал Бенкендорф, — и отметил своеручно два места, кои его величество желает видеть измененными, а именно два стиха: «Порою с барином шалит» и «Коснуться хочет одеяла»; впрочем, прелестная пьеса позволяется печатать. «Фауст и Мефистофель» позволено напечатать за исключением следующего места:

«Да модная болезнь, она
Недавно вам подарена».

«Песни о Стеньке Разине» при всем поэтическом своем достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию. Сверх того церковь проклинает Разина, равно как Пугачева.

И так почти во всех письмах Бенкендорфа: ложка меда и ложка дегтя. Жалует царь, да не жалует царь. Обидные колкости в самых неожиданных случаях. Когда Пушкин послал государю просьбу о разрешении приехать в Петербург, Бенкендорф ему ответил: «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С. Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано».

Приходилось терпеть и молчать. Прежде хоть было утешение в том, что его поддерживает народная любовь, теперь же он не чувствовал этой любви. Позже, когда Дельвиг раскрыл перед ним строгие прелести сонета, Пушкин написал:

ПОЭТУ

Поэт! Не дорожи любовью народной
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда зовет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить сумеешь ты свой труд,
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Но прежде чем обречь себя на творческое одиночество, Пушкин долго искал места поэта среди людей и посвятил этому много стихотворений и набросков, порою и противоречивых.

* * *

Театральная зала княгини Волконской была отдана в распоряжение заезжей итальянской певицы синьоры Анджелики Каталани. Афишки, расклеенные по заборам, оповещали, что цена за билет на концерт — 25 рублей, начало в 7 часов.

В сенях был поставлен столик для продажи билетов. За ним сидела компаньонка певицы, старая близорукая женщина в очках и с перстнями на всех пальцах.

Заканчивались последние приготовления. Слуги княгини суетились, расставляя кресла и стулья в двенадцать рядов, зажигали лампы, свечи и люстры, передвигали к авансцене новенький, блестящий черным лаком рояль, только что прибывший из Парижа.

Княгиня Волконская купила сорок билетов и разослала их своим обычным посетителям литературных понедельников. Они

должны были занять третий и четвертый ряды кресел. Первые два ряда предназначались для светских дам, которые были бы оскорблены, если бы им достались дальние места.

Пушкин приехал вместе с четой князей Вяземских и с Соболевским. Княгиня повела их знакомиться с Каталани. Знаменитая певица сидела в боковой комнатке, предназначенной для переодевания артистов. Она была одета в черное шелковое платье с перехватом в талии, с широкой в складках юбкой и с большим роговым гребнем в волосах. Из-под юбки виднелись красные остроносые туфельки. В руках она держала большой белый веер из страусовых перьев и ловко играла им, то раскрывая и обмахиваясь, то закрывая и прижимая к груди. Княгиня Волконская была тоже в черном платье, но скромном, закрытом, без шлейфа, с узкими короткими рукавами, чтобы удобно было играть на рояле. Княгиня должна была аккомпанировать Каталани некоторые пьесы.

Звонок оповестил, что приготовления закончились и можно начинать концерт. Зала стала наполняться народом. Одним из первых вошел Андрей Николаевич Муравьев и остановился в углу около огромной статуи Аполлона Бельведерского.

Вскоре первые два ряда были заняты блестящими московскими красавицами, третий и четвертый — друзьями хозяйки дома, а остальные достались мужчинам, которые быстро нашли свои места, так как на билетах были указаны ряд и номер кресла.

Концерт начался ариями из модной оперы Балтазара Галуппи «Покинутая Дидона» — «А! Нон лашиар ми, но, но, но» («Не покидай меня, нет, нет, нет») и «Ма дове» («Мне грустно»), затем последовала каватина из «Лючии ди Ламермур» Доницетти и ариозо Розины из «Севильского цирюльника» Россини. Все оперные арии исполнялись под аккомпанемент рояля, за которым сидела княгиня Волконская.

Голос у Каталани был сильный, но резковатый. Певица была уже не молода, ей давно перевалило за сорок, но она сохранила свежесть своего колоратурного сопрано и виртуозно им владела. Певица имела успех. После каждой арии ей аплодировали, иногда кричали «фора», но особых восторгов она не вызвала.

Во втором отделении Каталани вышла в сопровождении высокого итальянца, театрально одетого в черный фрак с белым кружевным воротником рубашки и черной бородкой в стиле Генриха Четвертого. В руках у него была гитара. Под ее акком-

панемент Каталани начала петь итальянские народные песни, главным образом неаполитанские. Слушали ее с удовольствием. Оживление нарастало. Вдруг Каталани неожиданно для всех запела дикую цыганскую песню про любовь цыганки к удалому ямщику, про его измену, бегство, про лихих коней и про ее гибель. Резкий голос итальянки очень подходил и к заунывному напеву, и к страстной муке, которую артистка превосходно передавала. Песня вызвала всеобщее восхищение. Певице долго аплодировали, кричали «фора» и «бис». Каталани много раз выходила на вызовы, раскланивалась, прижимала веер к груди и, казалось, на этом собиралась закончить свое выступление. Восторженные крики начали уже утихать, но тут у рояля снова появилась княгиня Волконская и объявила:

— Русский романс «Соловей». Музыка Алябьева, слова барона Дельвига.

Пушкин не выдержал и крикнул: «браво!» Княгиня улыбнулась и села за рояль. Каталани пела по-русски. Трудные пассажи она преодолевала с необыкновенной легкостью. Звонкие трели, замысловатые рулады зазвучали не сами по себе, не для того, чтобы щегольнуть виртуозностью техники, а для того, чтобы воссоздать песню родного соловья с его необыкновенным искусством, так близким душе каждого русского человека.

Конец концерта увенчался тем триумфом, которого и добивалась опытная певица. Она приняла восторги публики с привычным спокойствием и удалилась к себе переодеваться. Цветы и подношения принимали за нее итальянец и ее компаньонка в очках и серой шляпке.

— Каталани третьего дня была в цыганском таборе и там слушала Стешу, так что цыганская песня для меня не была неожиданностью. А вот где она разузнала про «Соловья», ума не приложу, — говорил Соболевский.

— «Соловей» — это уж дело рук княгини Зинаиды Александровны. Она нам с Пушкиным сюрприз приготовила, — возразил князь Вяземский.

Толпа стала расходиться. Пушкин, Мицкевич, Вяземские и Соболевский терпеливо сидели на своих местах. Они были приглашены на ужин к княгине и ждали, когда, наконец, посторонние очистят театральную залу. Вдруг послышался грохот и шум падающего тела. Пушкин оглянулся и увидел, что Андрей Муравьев поскользнулся и упал. Падая, он задел статую Аполлона. Чтoб удержаться, Муравьев схватил за руку бога, держав-

шого лук с натянутой тетивой, но хрупкий гипс не выдержал его тяжести, и Муравьев шлепнулся на пол с отбитой рукой статуи. Муравьев поднялся, отряхнул пыль с платья, но не вышел из залы, а вынул карандаш и стал писать что-то на постаменте. И только когда окончил, вышел, хромая, в гостиную с самодовольным выражением лица.

Пушкин и Соболевский полюбопытствовали посмотреть, что же такое написал Муравьев, получивший увечье от статуи повелителя парнасских богинь. Они быстро обнаружили на постаменте надпись в стихах:

О Аполлон! Поклонник твой
Хотел померяться с тобой,
Но уступился и упал.
Ты горделивца наказал:
Хотя пожертвовал рукой,
Зато остался он с ногой.

— Этот дылда с типично русым коком в высоком черном жилете и с миниатюрными белыми четками вокруг запястья левой руки и есть пресловутый паломник в святую землю? — спросил Мицкевич.

Он говорил по-русски без всякого акцента, и Пушкин дивился выразительности его оборотов.

— Он самый! — ответил Соболевский. — Бьюсь об заклад, что он нарочно отбил у статуи руку. Его пленила слава Герострата. Надо на него эпigramму написать.

— Я напишу! — сказал Пушкин, отошел в сторону и вынул записную книжку.

— Княгиня просит гостей пожаловать к столу! — услышал он за спиной.

— Сейчас, сейчас!

Мицкевич смотрел, как заблестели глаза у Пушкина, как раздулись его ноздри, как быстро летел карандаш по бумаге, зачеркивал, вписывал и, наконец, остановился.

Пушкин подошел и прочитал:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон.
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон.

Кто вступился за Пифона?
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

— Он тебя за это на дуэль вызовет! — сказал смеясь князь Вяземский.

— Тогда я погиб! — ответил серьезно Пушкин. — Я имею предсказание, что должен умереть об белого человека или от белой лошади. А Муравьев не только белый человек, но и лошадь.

* * *

На балу у князя Голицына Пушкин танцевал с Екатериной Ушаковой мазурку.

— Говорят, что вы уже делаете прощальные визиты, побывали у сестер Урусовых, у Римских-Корсаковых. Значит, ваш отъезд в Петербург близок. Надолго ли покидаете нас? — спрашивала Екатерина.

— Времени определить не могу. Петербург должен быть местом моего постоянного жительства. Там моя семья, там журнальная и книжная торговля, там правительство, которое тревожится, когда меня долго не видит.

— И вы довольны переменой вашей судьбы?

— Нет. Покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при мысли переменить мой тихий образ жизни на вихрь и шум, ожидающий меня.

— А самой Москвы вам не жалко?

— Москва уже не та, которую я узнал и полюбил в детстве.

— И которую так правдиво описал Грибоедов?

— «Горе от ума» есть уже картина обветшала, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который «всякому, ты знаешь, рад»: и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому. Вы не найдете ни Татьяны Юрьевны, которая

Балы дает нельзя богаче
От Рождества и до поста,
А летом праздники на даче.

Хлестова в могиле, Репетиллов в деревне! Бедная Москва!

— Почему же так случилось? Что произошло со старушкой Москвой, почему она оскудела?

— Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном государстве, как два сердца не существуют в теле человеческого.

- Когда же мы увидим вас?
- Когда прикажете!
- Приезжайте завтра обедать.
- Слушаюсь!
- Надеюсь на прощальные стихи в мой альбом.
- Они и сейчас со мною. Могу вам их передать.
- Нет, лучше впишите их в альбом своею рукой.

На следующий день Пушкин, сидя в комнате Екатерины, держал в руках альбом и рисовал ее черты. Сходство никак не давалось, и художник решил превратиться в поэта. Он написал: «Трудясь над образом прекрасной Ушаковой»... а дальше ничего путного придумать не мог. Вдохновению поэта и художника что-то мешало. Он решил прекратить спор с ленивой музой и стал вписывать в альбом те стихи, которые приготовил для Екатерины по случаю своего отъезда.

Е. Н. Ушаковой

В отдалении от вас
С вами буду неразлучен.
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен.
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, —
Вы вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

- Что за грустные мысли не ко времени! Или случилось что-нибудь тревожное? — спросила Екатерина.
- Еще не случилось, но случиться может.
- Расскажите!
- Не стоит. Рано еще. Может быть, все обойдется, а скорее, ложная тревога. Но, знаете, обжегшись на молоке, дуешь на воду. А все же вы не ответили на мой стихотворный вопрос.
- Вздохну, конечно, вздохну.
- Спасибо и на этом. Ну, до свидания, а может быть, и прощайте.

Екатерина встала, протянула Пушкину руку и отвернула лицо. Он заметил у нее на глазах слезы. Изогнулся, чтобы взглянуть ей в глаза. В это время Екатерина спрятала лицо у него на груди и положила обе руки ему на шею. Пушкин стал нежно целовать ее глаза, мокрые от слез, руки, волосы...

- Я иду сейчас же к вашим родителям просить вашей руки!

— Нет, нет, не смейте! Уезжайте в Петербург свободным. Когда приедете, тогда все и решим. Да и на что будет похоже: сделал предложение, получил согласие и уехал. Меня засмеют, будут дразнить «покинутой Дидоной», которую вы слушали у княгини Волконской.

— Ваше приказание для меня закон!

— То-то! Кроме того, я еще не решила, что выйду за вас замуж!

— Как так?

— Я пока только решила, — Екатерина запнулась и тихо закончила, — что я люблю вас.

* * *

Один экземпляр «Цыган» Пушкин отослал княгине Волконской и сопроводил его стихотворным посланием:

Княгине З. А. Волконской

При посылке ей поэмы «Цыганы».
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

Прощальные визиты были окончены. Оставались последние мелкие дела перед отъездом. И Пушкин отправился к Соболевскому.

— Я записался в конторе поспешных дилижансов на 19-е число и в 10 часов утра собираюсь выехать из Тверской заставы. Покачу по гладкому шоссе в спокойном экипаже, не заботясь ни о прочности, ни о прогонах, ни о лошадях. Вспоминаю о первом своем путешествии в Петербург по старой дороге. Это было пятнадцать лет тому назад. Дядюшка Василий Львович

повез меня, чтобы определить в Царскосельский лицей. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Рывины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целых шесть дней тащились мы по несносной дорсге. В Петербург я приехал полумертвый.

— Я прикажу приготовить тебе пирогов и холодной телятины, — отозвался заботливый Соболевский.

— Я пришел к тебе не за этим. Я хотел бы запастись книгой. В тюрьме и в путешествии всякая книга есть дар божий, и та, которую ты не решишься и раскрыть, возвратившись из Английского клоба или собираясь на бал, покажется тебе занимательной, как арабская сказка, если попадется тебе в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях, чем книга скучнее, тем предпочтительнее.

— Это уж парадокс, более остроумный, чем справедливый!

— Ничуть. Книгу занимательную ты проглотить слишком скоро, она врежется в твою память и воображение; перечитать ее уж невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкой, с отдохновением — оставляет нам способность позабыться, мечтать. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша. Не говорю о книгах ученых, но и о книгах, написанных с целью просто литературною.

— Пожалуйста, могу дать тебе нравственно-сатирический роман, ибо уж ничего скучнее быть не может.

— Нет, нет, уволь, только не это.

— Постой, есть у меня для тебя книжка.

С этими словами Соболевский раскрыл дальний шкаф и вынул из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михаила Хераскова книгу, по-видимому, изданную в конце прошлого столетия.

— Прошу беречь ее! — сказал он таинственным голосом. — Надеюсь, что ты ее вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность.

Пушкин раскрыл книгу и прочел заглавие «Путешествие из Петербурга в Москву». СПб, 1790 году с эпиграфом: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевпо и лаяй». Тилемахида, кн. XVIII, ст. 514.

С книгой Радищева Пушкин сел в поспешный дилижанс и покатил по гладкому шоссе только в направлении, обратном тому, которое описал автор знаменитого «Путешествия». Первая его остановка была Черная Грязь.

* * *

Вскоре после отъезда Пушкина Екатерина Ушакова писала в письме к брату Владимиру:

«Город опустел, ужасная тоска (любимое слово Пушкина). Он уехал в Петербург, может быть, он забудет меня; но нет, будем лелеять надежду, он вернется, вернется безусловно! Дер-жу пари — читая эти строки, ты думаешь, что твоя дорогая се-стра лишилась рассудка; в этом есть доля правды, но утешься, это ненадолго, все со временем проходит, а разлука есть самое сильное лекарство от причиненного любовью зла.

Остаюсь навсегда преданная вам, послушная, ленивая, безумная и любящая Катичка, называемая кое-кем Ангел».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог	3
Перемены	10
Москва	33
Борис Годунов	63
Первое сватовство	92
Снова крамола	127
По зову сердца	146
Отъезд	172

Виктор Азриэлевич Гроссман
ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ

Редактор *В. К. Лиханова*
Оформление художника *О. А. Бороздина*
Художественный редактор *В. С. Вожливец*
Технический редактор *Н. Б. Буйновская*
Корректоры *Н. К. Галкина, А. А. Фонтейнес*

ГЕ00572

*

Сдано в производство 25.8.1966 г.
Подписано к печати 10.12.1966 г.
Формат бумаги 60×84¹/₁₆ (бумага типографская № 3).
Физ. печ. л. 12,00. Усл. печ. л. 10,92. Уч.-изд. л. 10,57.
Тираж 15 000. Цена 47 коп. Заказ 5664.
Областная типография,
Вологда, Калинина, 3.

КНИГИ ДЛЯ ВСЕХ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВЫЕ КНИГИ:

- А. Сушинов. ДЕРЕВЕНСКИЕ ОКНА. 1966.**
104 стр., 12 коп.

Записки журналиста — так определил жанр своего произведения сам автор. Это очерки о нашей сегодняшней колхозной деревне. Зорким глазом автор подмечает все интересное в судьбе и жизни окружающих его людей.

- Л. Фролов. ДОРОГА. (Записки комсомольского работника). 1966. 96 стр., 14 коп.**

Автор книги, журналист, в прошлом комсомольский работник, вводит читателя в беспокойный мир комсомолии. Близки и понятны молодежи его герои, которые утверждают очень жизненную и верную линию в комсомольской работе: не успокаиваться на достигнутом, не быть равнодушным, всегда искать, творить, дерзать.

- А. Романов. КРАСНОЕ ЗАСТОЛЬЕ. Стихи. 1966.**
128 стр., 30 коп.

Новый, шестой по счету сборник автор посвящает родному северному краю, землякам-северянам, людям с нелегкой, но мужественной судьбой. По своему складу Александр Романов — поэт лирический. У него много стихов-раздумий о своем поколении, о дружбе и любви.

Л. Беляев. ТОПОЛЯ РОНЯЮТ ПУХ. Стихи. 1966.
64 стр., 10 коп.

«Тополь роняют пух» — первая книжка молодого поэта. В нее вошли стихи о молодежи, о родной северной природе и тружениках колхозной жизни.

Б. Чулков. ПОГОДА ВЕКА. Стихи. 1966. 64 стр., 11 коп.

В своих стихотворениях поэт стремится философски осмыслить жизнь, ее явления, судьбы людей, раскрывает темы войны и мира, труда и творчества.

В. Малков. ПО ВОЛГО-БАЛТУ. Путеводитель. 1966. 320 стр. + 16 вкл., 60 коп.

Прочитав книгу «По Волго-Балту», вы познакомитесь с Волго-Балтийским водным путем имени В. И. Ленина. Автор подробно описывает туристские маршруты от Ленинграда до Череповца, а также от Вытегры до Беломорска и от Кириллова до Вологды.

В книге содержится большой фактический и справочный материал о Ленинградской и Вологодской областях и Карельской АССР, о богатстве, красоте и многообразии Севера, об истории Мариинской системы и Волго-Балта.

Ю. Дмитриевский и П. Зимин. ГЕОГРАФИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 1966. 80 стр., 12 коп.

Книга представляет собой учебное пособие для восьмилетних и средних школ. В ней рассказывается о природе, народном хозяйстве, культуре и городах Вологодской области.

Книги Северо-Западного книжного издательства можно купить в магазинах и киосках Вологодского облкниготорга, потребительской кооперации и «Союзпечати» или выписать по адресу: Вологда, ул. Мира, 14, «Книга—почтой».
